

Колокол

Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи.
Тяжкие лампы. Бубенцы!

Павел Васильев

О, как ярко — словно было это вчера — вижу я и поныне тот — бесконечно на самом деле теперь от меня уже далекий знойный августовский полдень в станице Пресновской. Как и сейчас, слышу забубённый гул перекатного, пропитанного полынной горечью горячего ветра. Все отчетливо помню. Мутноватое, тускло сверкающее сквозь пыльную пелену черной бури, прокаленное зноем небо. Босоногую худую старуху с холщовой сумой на боку, заснувшую у нашей завалинки. Шелест кипящей под ветром древесной листвы в палисаднике. Скрип дрожня дрожавшей жерди под уже покинутой скворцами скворешней. И тугие жгуты смерчей, бесновавшихся по пустынным улицам и переулкам точно вымершей в эту пору станицы.

Август — разгар страды. И станичные хлеборобы — от старого до малого — все в степи, в поле, на пашне.

А мне — четыре года. И я ничего не знаю о том, где я был и как я жил до этого знойного пыльного дня. Выходит, что все-таки где-то был и как-то жил я и до сегодня. Но жил — теперь мне понятно — бездумно, кротко и неприметно, как живет стебелек мелколистной степной полынки, доверчиво притулившейся к огородному плетешку.

Вдосталь — надо думать — наигравшись за этот полдень в круглом одиночестве в тени крытого дерном сарая, разморенный жарой, убаюканный колыбельным ветром, я заснул. Заснул полусидя, прислонясь головой — с белесыми малоухоженными волосами — к полурассохшемуся колесу старой нашей телеги.

Не знаю, сколь долог иль короток был тот мой сон. Но проснулся я от грозного трубного звука и замер от безотчетного ужаса, в комок сжавшего детскую мою душу.

В страхе отпрянув от колеса, я весь напряжился, вслушиваясь всем своим существом то ли в утробный стон, то ли в надсадные вопли незримой грозной трубы. А затем, стремглав вылетев из сарая на открытый наш двор, я увидел над головой черное, как вороново крыло, будто залитое кипящей смолой небо.

А труба — словно откуда-то с заоблачной высоты — продолжала трубить и трубить все пронзительнее, все угрожающе, все горше. И тут я вдруг не то что там понял, а скорее, конечно, почувствовал, что это был Главный колокол

нашей станичной церкви, звук которого, быть может, уже и касался моей отроческой души когда-либо прежде...

И не успел я опомниться, прийти в себя, как у меня подкосились ноги от крика старшей из двух моих сестер — Даши. Точно вихрем вырванная из дверного проема сеней, она на какую-то долю мгновения застыла как вкопанная на низеньком нашем крылечке, вглядываясь в черную накипь неба. И вдруг, обреченно прижав к груди накрест схлестнувшиеся тонкие девичьи руки, так закричала, что я не узнал ее голоса.

— Набат?! Набат?! Боже, да ведь это пожар! А-а-а! Пожар! Боже мой! Боже мой! Пожа-а-а-а-а!

У меня перехватило дыхание от жаркой вспышки невыразимой нежности и жалости к полуузнанной мною в эту минуту сестре. Ничего не понимая, не догадываясь о том, что же произошло, я, однако, почувствовал какую-то страшную беду, нависшую над нашим двором, надо мной, над обнаженной русоволосой головой Даши. И заплакав, я бросился со всех ног к обезумевшей от страха и горя сестре, невольно ища у нее утешения, ласки и защиты.

С лету очутясь в спасительных, надежных руках нянчившей меня сестры, я сразу притих и тут же спросил ее:

— Правда же, это ведь они звонят к обедне? Правда же?

Но Даша, ничего не ответив мне, только судорожным движением руки погладив меня по голове, опрометью бросилась со мной в дом и заметалась, будто в беспамятстве — челнок челноком — из кухни в горницу, из горницы — в кухню. Затем, сорвав — почему-то только с одного горничного окошка — тюлевую занавеску, прихватив впопыхах заодно и ветошный коврик со старинного маминого сундука, — она, крепко прижав меня к груди, снова вихрем вырвалась вон из дома — на просторный наш двор, а потом — за ворота, на улицу.

Даша вновь закричала чужим голосом. Но я не разобрал ее слов — их заглушил яростный рев раскаленного опалившего лицо мое ветра. Что-то сухо трещало, гудело, звенело и грохотало вокруг нас, и я не узнавал потонувшей в удушливой полумгле нашей улицы.

А колокол выл и выл — выл, как попавший в беду человек, захлебываясь от сбивчивого торопливого крика и стога.

Все ходило вокруг ходуном — и земля и небо. А Даша, не выпуская из рук ни меня, ни тюлевой занавески, ни ветошного коврика, то кидалась снова во двор нашего дома, то вновь вылетала прочь — на полутемную, объятую жаром улицу.

Теперь сестра уже не кричала, а только беззвучно шевелила обескровленными, спекшимися губами, и я не узнавал сейчас уже и ее лица — тоже теперь для меня бесконечно чужого, как будто никогда доселе мною не виданного...

Было похоже, что ударил гром. И тут вдруг я увидел в черной, клокочущей бездне неба раскиданную ветром стаю огненноперых птиц. Они, излучая багряные брызги и струи, в смятении порхали в грифельном небе,

рывками кидаясь из стороны в сторону, и — то отвесно, то косо — падали, как подбитые, на кровли навесов, домов и амбаров.

А затем — как мне мнится теперь — кто-то с дьявольской яростью и неземной сатанинской силой метал с высоты на станицу пылавшие стрелы, копья и факелы. И вот — то тут, то там — взмыли ввысь, заходили враскачку расшатанные ураганым ветром, перевитые траурным дымом, огненные столбы.

Таким увидел я — четырехлетний последыш многодетной нашей семьи — памятный моему поколению одностаничников пожар тысяча девятьсот десятого года.

За каких-нибудь там полтора-два часа огненный ураган начисто смел с лица земли почти всю вековую нашу станицу.

Уцелело немного. Церковь. Пожарная каланча. Здание станичного правления. Кабак с домом целовальника. Начальная школа. Войсковые склады холодного оружия, походного снаряжения и провианта, стоявшие на отшибе — за древними крепостными валами. И около десятка кондовых домов пресновской знати, в большинстве своем примыкавших к обширной церковной площади. То были дома здешних купцов и скотопромышленников — приписных, не потомственных казаков станицы — Фоминых, Немировых, Коркиных, Стрельниковых, Вронских, Боярских.

Мало что из домашних пожитков удалось отстоять от огня подоспевшим к пожару станичникам, прискакавшим с далеких пашен верхами.

Не ахти как много добра успели выволочь, выкинуть вон — на улицу — из пылавшего свечой деревянного нашего пятистенника и старшие мои братья — Иван с Дмитрием, тоже прискакавшие вершными с пашни.

Прорвавшись сквозь огненно-дымный занавес, братья в первую очередь выволокли из горящего дома заветный мамин сундук — хранитель немудрых праздничных нарядов семьи. Потом им удалось урвать у огня и еще кой-чего из домашности. Медный, щедро осыпанный наградами регалиями самовар с фамильным тавром тульских заводчиков — братьев Баташевых. Ручную швейную машинку «Зингер» — кормилицу белошвейки Даши. Нарядную, весело расписанную ирбитскими мастерами прялку. Потемневшую от времени деревянную икону с распятым Христом — прадедовское благословение нашему дому. Саратовскую гармонику с бубенчиками, нажитую на побочных заработках Иваном. И что попало второпях под руку — из кухонной утвари. Отчетливо запомнился мне и венец этого страшного в истории нашей семьи и станицы дня — тихий, умиротворяюще-кроткий, пропитанный горькой гарью вечер. Порозовевшее от заката большое станичное наше озеро с отраженными в нем неподвижными облаками. Дремотно махавшие упругими крыльями — тоже позолотевшие от вечерней зари — чайки, парящие над стоячей зеркальной водой. И печальный, похожий на сдавленный полустон, глуховатый крик выпи в далекой, заросшей дремучими камышами заозерной курье.

Все наши теперь были в сборе. Угрюмый, непривычно чужой для меня сейчас с виду, отец. Но все та же прежняя — маленькая, подвижная и порывистая — неизменно ласковая со мной мама. Суровые, еще более по-

взрослевшие теперь в моих глазах братья — Иван и Дмитрий с Кириллом. Притихшие, пугливо жавшиеся — как птицы — друг к дружке сестры Даша и Паня.

Сбившись в тесную кучку, старшие члены семьи не сводили глаз с вороха обуглившихся, еще чуть дымившихся головешек родового пепелища — последних останков бывшего нашего дома и двора.

Все молчали.

Никто не обронил в эти минуты ни слезы, ни вздоха, ни слова. И только воротившиеся под вечер со степных пастбищ коровы, ошарашенно крутятся возле полуугасающих пепелищ, вдруг подняли рев на всю былую, поверженную в прах станицу. Низко уронив рога, яростно разрывая копытами теплую золу и искрящиеся угли, коровы выли, оплакивая — вместо убитых неслыханной бедой людей — свои бывшие дворы и загоны.

Коровы ревели.

А отрешенные, какие-то потусторонние в эти минуты погорельцы станицы смотрели на них незрячими от горя глазами с тупым безучастием, будто не только не видя, но и не слыша их.

День меркнул.

Коровий рев понемногу пошел на убыль — стал затихать. Стало слышно, как в вечерней степи заперекликались, призывая ко сну людей, перепела. «Спать пора! Спать пора! Спать пора!» — четко выщелкивали они эти не раз потом баюкавшие меня колыбельные присловья, когда я — утомленный дневной полевой работой полуподросток — сладко и счастливо засыпал рядом с отцом на пашне.

«Спать пора! Спать пора! Спать пора!» — самозабвенно пощелкивали в травах соседствующие со станицей перепела, и у меня покорно смыкались набрякшие веки и пугливо подрагивали ресницы, тронутые легким дуновением сна.

Но тут вновь ударил Главный колокол обойденной мятежным огнем станичной церкви. И затяжной, напевный, медлительно замирающий где-то в глубинном степном просторе гул его опять привел в трепет чуткую на побудку детскую мою душу. И снова, гонимый безотчетным отчаянием, я было бросился — в поисках защиты — к неподвижно стоявшей в кругу нашей семьи, будто окаменевшей маме. Но меня опять ловко перехватила на лету в теплые, трепетные свои руки Даша, — и сбивчиво, доверительно, горячо стала полусшептать мне на ухо:

— Не пужайся. Не пужайся больше, голубчик! Не надо. Не надо... Это — не к пожару. Это — не пожар. Пожара больше не будет... Это ж к вечерне звонят. К вечерне!..

Я притих. И при виде истово крестившейся, словно вдруг разбуженной колокольным звоном мамы сразу же успокоился. И потом, настороженно прислушиваясь к неторопливым, размеренным звукам медноголосого трубача, чутьем угадывал в их спокойном, плавном потоке некий иной уже, незнакомый донине мне голос, а может быть даже — и смысл...

Да, это был другой колокол — совсем не тот, что, взыв в черном небе, разбудил меня нынешним днем от разморенной полуденной моей дремы. Какой-то другой струной, другой гранью задевал теперь мою посветлевшую, кротко притихшую душу этот непорочный, скорбный и миротворный звук...

То звонили к вечерне.

Был канун большого церковного праздника — Успенья. И престарелый станичный священник — отец Никанор, невзирая на страшное бедствие, обрушившееся на его приход, — не решился отменить вечернее богослужение, положенное по Большому требнику.

Спосылав за — всегда полухмельным и тоже нынче погоревшим — пономарем Моисеем Шевелевым, старый священник велел ему отправляться на колокольню и бить в Главный колокол, созывая торжественным благовестом попавших в беду прихожан к поздней вечерней службе.

Позже — уже повзрослевшим — не один раз доводилось мне слышать от дедушки Арефия Старкова — церковного старосты и нашего соседа — про это памятное ему богослужение в пустой от прихожан церкви.

По словам дедушки, на тревожной и скорбной этой всеобщей не было даже клиросных певчих. И вечернюю службу справлял одряхлевший отец Никанор с помощью одного лишь церковного регента — лихого станичного нашего кузнеца и коновала — Лавра Тырина да дедушки Арефия, раздувавшего угарные угли в кадиле и снимавшего нагар с пламеневших под образами восковых свечей.

Я и теперь, пожалуй, толком не объясню, отчего так неизменно, горько волновал меня в раннем детстве рассказ церковного сторожа об этой вечерней предпраздничной службе в безлюдной церкви.

Может быть, мне уже было понятно в ту пору, какая сумятица творилась на исходе того рокового дня в оторопевших от неслыханной беды душах потерявших в огне и кров и пожитки станичных жителей. И жутко, должно быть, было им видеть в тот горестный час златоглавый, по-лебяжьей белоснежный свой храм в окружении испепеленных станичных руин, отрешенно взиравший на людское горе полузрячими, сумно озаренными изнутри жарким свечным сиянием окнами...

Помню, коротали мы с отцом и мамой первую — после пожара — ночь на нашей пашне. Благо она была недалей — всего в трех верстах от станицы. Был у нас там и кров над головой. Просторный, укрытый дерном балаган — шалаш, схожий со степной кочевнической юртой.

И опять же — мнится мне — будто было все это совсем недавно, вроде бы как вчера, — столь отчетливо вижу я и поныне все то самое, что окружало в ту августовскую ночь и меня, и отца, и маму под укрывным нашим полевым кровом. И мерцает в глазах моих очажок, кротко тлеющий среди балагана. И воочию вижу я и отца, примостившегося на чурбачке около догорающего костра, молча ворошившего ракиновым прутиком золотящиеся в полумраке угли.

А мама — рядом со мной. Мы лежим на покрытой домотканым пологом, сладко пахнущей свежей овсяной соломе. И я, покачиваясь на зыбких качелях

дремоты, в полузабытьи прислушиваюсь к теплему, как парное молоко, полупапевному — близкому к полушепоту — материнскому голосу.

Баю, баю, баю-бай. Пойди, Бука, под сарай. Пойди, Бука, под сарай — Коням сена надавай.

Кони сена не едят,
Все на Букушку глядят!

И совсем уже засыпая под этот баюкающий, ласковый полушепот, я вдруг с тревогой спрашиваю:

— А завтра он меня тоже разбудит?

— Кто, сынок?

— Он — колокол.

— Спи. Христос с тобой. Спи... Разбудит. Разбудит!

— А после — потом?

— И после и потом — разбудит. Он всю жизнь нас, грешных, будит... И тебя будет будить... — утешает меня полушепотом, так и не поняв, видно, подспудной моей тревоги, мама.

Гаснет костер.

Круг пережитого мною за этот минувший день замыкается, и я засыпаю. Разбудил ли меня на другой день поутру Главный колокол, его очень хорошо было слышно на нашей пашне, я этого не помню, не знаю. Потому что — как и до этого дня — я снова стал жить какое-то время в беспомыслии, и рос — как трава в чистом поле, покорная вольному ветру.

Правда, не все было заспано, позабыто и в этой, отмерцавшей подобно полуденному мареву над желтой от зноя степью полупризрачной моей жизни — от рождения до пяти-шести лет. И хоть рос я эти годы — трава травой, а все же какие-то мимолетные случаи и события той поры навсегда запечатлелись в полумладенческой, сбивчивой памяти. Я и теперь не скажу, в полузаспанном ли детском сне виделось мне тогда то или это, иль — наяву...

Хорошо запомнилась мне с тех времен бабушка Платониха — наша соседка. Звали ее так по мужу — Платону Гордееву.

Запомнился Платон. Огромного роста, осанистый, бравый старик с дремучей окладистой бородой веером. С лихим — не по его годам — казачьим чубом. Платон был очень схож с другим — таким же рослым и молодцеватым — но уже белым как лунь станичным красавцем — Устином Стабровским.

Позже я узнал, что оба эти старика были не простыми казаками — лейб-гвардейцами, отбывавшими действительную службу не в городе Верном, как все прочие одностаничники, а в Санкт-Петербурге. Там они несли караул во внутренних дворцовых покоях царствовавшего в ту пору императора Александра III, и пресновчане — от старого до малого — относились к ним с нескрываемой завистью и почтением. Меня же сводили с ума их голубые, расшитые золотом парадные мундиры, и совсем уж бросали в трепет картинные, похожие на опрокинутые на головы бакыры, алые кивера с устремленными ввысь над ними — как рублевые церковные свечи — султанами!

Впрочем, Платон — как равно и Устин — был виден, внушителен, ладен собой и без парадного гвардейского мундира, а уж о кивере и говорить не приходится!

Про бабушку же Платонику такого не скажешь. Не под стать мужу была она маленькой, сухонькой, суетливой и столь к тому ж моложавой, что рядом с Платоном скорее, пожалуй, годилась бы ему в дочери, нежели в жены.

Платониха всегда куда-то спешила. Всегда ей было недосуг. Всегда где-то что-то было у нее не доведено до ума — не доделано. Едва переступив порог, она, впопыхах торопливо перекрестясь, здоровалась — еще более торопливой, малоразборчивой скороговоркой — и тут же принималась ахать и охать про свой недосуг, про свою домашнюю неуправу. И мама тоже торопилась поднести ей как можно скорее походную казачью кружку с загодя припасенными для неусидчивой гостьи чайными выварками.

Про чайные выварки — слабость Платоники — знали все наши соседи и, приберегая их впрок после каждого чаепития, потчевали потом ими охочую до них бабушку.

Я всегда был рад шумливому появлению у нас запыхавшейся, хлопотливой и непоседливой этой нашей соседки. Мне нравилось, глядя на нее, видеть, с каким она наторевшим проворством и завидной ловкостью выуживала цепкими перстами из кружки выцветшую чайную шелуху и, жмурясь от наслаждения, глотала ее всласть — с причмоком. А попотчевавшись наспех любимым лакомством, она никогда не забывала тут же одарить меня каким-нибудь немудрым гостинцем. То — леденцом. То — сахарным огрызком. То — заварным калачиком, в придачу с ласковым словом...

— А теперь — побегу. Побегу. Побегу, кума!.. — тараторила, возвращая маме опорожненную латунную кружку, суетливая бабушка. — Там делов, делов у меня — невпроворот. Чисто скрозь кругом — не растворено — не замешано... Побежала. Побежала. Побежала... Спаси тебя Христос, кума, за все приятности!..

И Платониху будто ветром сдувало. Сунув мне свой гостинец, она мигом исчезала из моих широко раскрытых на божий мир, изумленных, радостных глаз. И я тогда тоже, с таким же наслаждением, принимался сосать дарованный ею мне леденец или жевать заварной калачик, как это только что делала бабушка, опоражнивая кружку с чайными выварками...

Запомнилась мне бабушка Платониха в связи с еще одной бедой, обрушившейся на нашу семью, — пропажей занятых зимним извозом двоих моих старших братьев Ивана с Дмитрием.

Стояла суровая зима тысяча девятьсот двенадцатого года. А зима для пресновчан была порой извозного промысла — довольно-таки доходного побочного приработка для жителей среднего достатка. Сбиваясь в артельные обозы, хаживали станичники по санному следу, случалось, и в неблизкий путь. До ближайших от нашей станицы железнодорожных станций Великой транссибирской магистрали — Макушино и Петухово — было семьдесят с гаком верст. До уездных городов — Кургана и Петропавловска — по полтора. Но обозы, груженные пшеничным зерном и бочатами со

знаменитым сливочным маслом Сибири, топленным салом и бараньими тушами, кожевенным сырьем и невыделанными овчинами, замороженными кишками и прочим добром со стрельниковских и боярских боен,— расходились не только по этим двум городам и станциям. Ходили они по малоторным зимним дорогам и подальше. Возили купеческий груз в Ирбит, в Куртамыш, в Кресты — на гремящие по тем временам на всю Россию зауральские ярмарки.

Порожняком в станицу возчики не возвращались. Через Пресновку — перевалочный пункт — засылались в глубинные степи тугие купеческие тюки с красным — аршинным, как тогда еще говорили, товаром — ситцем, миткалью, бязью, вельветом, шелком и бархатом — для степных весенних и летних торжищ с кочевыми казаками в Каркаралах, в Куяндах, в Атбасаре, в Баянауле.

Шли туда же — через Пресновку — из глубин России и колониальные и галантерейно-скобяные товары. Комковой — головчатый — сахар. Караванный индийский и цейлонский плиточный чай. Позумент. Дешевые дутые серьги под золото. Латунные — с чернью — браслеты, похожие на серебро. Стеклярус. Чугунные казаны. Украшенные медными узорами сундуки. Деревянные круговые пиалы. Ведерные тульские самовары. Все эти товары имели большое хождение среди кочевников.

Вот с одним из таких обозов и ушли в извоз на исходе памятного мне 1912 года мои братья. Из Пресновки они повезли в Курган круговые слитки топленого сала со стрельниковских салотопен. А воротиться должны были с бакалейным товаром для торгового дома Немировых и с десертными красными винами для рейнского погреба при немировском магазине — тогдашней диковинке нашей станицы.

Был слух, что, возвращаясь с грузом из Кургана, возчики заночевали в селе Мало-Приютном, в тридцати верстах от станицы. Для обоза — это пять-шесть часов ходу, и дома поджидали возвращения из дальней дороги наших ребят где-то к обеду.

Мне уже перевалило в ту пору за шесть, и я отлично — на всю жизнь — запомнил весь этот декабрьский день, начавшийся с тихого, безмятежного утра и безвременной вялой оттепели, словно было это не перед рождеством, а в канун масленицы. Молодые березки и клены под окнами нашего нового пятистенного дома, прикрытые кружевными накидками куржака — серебристого инея, блаженно дремали в безветрии, не шелохнувшись. Потом пошел невесомый, несмелый снежок, нехотя, с ленцой запорошивший над крышами присмирившей в этот утренний час станицы.

А затем — вдруг как-то сразу — на улице потемнело, и густой поток навесного лавинного снегопада хлынул, как проливной летний ливень, из угрюмой небесной бездны.

И позднее — это уже поближе к полудню — затрубил, дико и властно загикал, завыл штормовой, шквальный северный ветер. И тотчас же все потонуло в сумятице низовой поземки, в яростной сатанинской пляске подоблачных снежных смерчей и вихрей, в жарком чаду и дыму сорвавшейся с цепи декабрьской вьюги... Минул оваянный метелью полдень. Померк, погас незаметно при грозном реве вертепной пурги и недолгий декабрьский день.

Тянулись — череда за чередой — томительные часы. А братьев моих, застрявших в дороге, не было и в помине...

Поздно. Очень поздно. В невеликом, заново уже обжитом нами доме нашем — тревожная щемящая тишина. Чисто в нарядной горнице и в опрятной кухне, мытых и перемытых по случаю большого праздника, ведь завтра канун рождества — сочельник. Пахнет свежей известью. Выстиранным, вымороженным на ветру бельем. До звона сухой березовой лучиной, нащепленной впрок для растопки. Лампадным маслом. Восковыми свечами. Пшеничными калачиками. Ванильной сдобной стряпней, припасенной к празднику.

Непривычно малоллюдно у нас в этот час непогожего вьюжного вечера. Сестры — Даша и Паня — убежали, несмотря ни на что, к кузнецу и регенту Лавру Тырину на предпраздничную клиросную спевку. Средний из братьев — Кирилл залился куда-то по своему молодому делу.

Отец, молча побряхтев-побряхтев, уплелся к дедушке Арефию Старкову — по-соседски делиться с ним одной их общей тревогой за судьбу возчиков, настигнутых бедовой пургой в дороге, — два старших сына Арефия — Степан с Михаилом — тоже шли с этим обозом...

Дома — мы вдвоем с мамой.

Я сижу на печи. Прикоснувшись ухом к дымоходной трубе, прислушиваюсь к жуткому, гортанному ее клокотанью, судорожному подрагиванию и звериному вою.

Мама, засветив в горнице лампадку, опускается на колени и, высоко запрокинув перед сумеречным киотом обнаженную голову, шепчет, неторопливо крестясь, слова молитвы. Не слыша ее молитвенных слов, я знаю, о чем она просит в эти минуты бога. О всевышней его милости к моим пропавшим в крошечной ночной пурге старшим братьям.

Притихнув около завывающей печной трубы, я ее свожу глаз с коленопреклоненной маминой фигуры, едва различаемой мною среди неярко озаренной сумным лампадным сиянием горницы, и сердце мое сжимается от светлой любви, от теплой нежности, от горькой жалости к ней — такой одинокой сейчас, горестной, скорбной, незащищенной!

А печная труба продолжала так грозно и мрачно клокотать, посвистывать, выть, что я, позабытый в эти минуты всеми на свете, вдруг устрашась своего одиночества, готов был уже тихо окликнуть погруженную в молитву маму. Но тут на пороге словно распахнутой ветром кухонной двери внезапно возникает, как привидение, похожая на сплошной снежный ком бабушка Платониха.

— Страсти. Страсти. Страсти господни, кума! — впопыхах тараторит потом Платониха, уплетая из латунной кружки чайные выварки. — Свету белого не видать на улице. А каково теперь там — в степи?! У нашего-то Михея-обозника шуба на рыбьем меху. И пимешки — зачем не видишь, каши запросят!

— Не енотовы шубы и у наших ребят на плечах... — угрюмо замечает мама.

— Не говори. Не говори. Не говори, кума. Не Бронские мы. Не Боярские — в еноте пыхать... А я ведь к тебе мимоходом. Хоть и недосуг у меня. А покаяться забежала. Вззяла-таки грех на душу. Про обозников наших — не стерпела — поворожила!

— Креста на тебе, матушка, нету — руками карты в таку пору поганить. Ведь завтра у нас — сочельник! — оговаривает ее со строгой укоризной мама.

— Да то ли я сама ворожила? Христос тебе встречи, кума!.. — запальчиво оправдывается Платониха. — Я ведь к Рысте — на край света — в таку непогоду полкала. Сунула ей пшеничну коральку, она и прикинула мне на бобах. На бобах. На бобах. На бобах, кума!..

— Ну, Рыста — это ишо туды-сюды... — примирительно соглашается мама. — Ладно уж, сказывай, чо тебе эта нехристь, на ночь глядя, наборонила?

— А вот чо, кума... Разбросила она, значит, пригоршню бобов по кошме, — скороговоркой бормочет таинственно приглушенным голосом Платониха. — Потормошила, потормошила их чо-то там пальцами. Пошепелявила, пошепелявила шепотом какие-то свои слова по-кыргызски. Под конец — утешила. Ступай, говорит, домой. Притерпись. Шибко не убивайся. Врать, вещует, не стану. По бобам, мол, вижу — худо им там теперь среди злых духов. Темно. Боязно. Жарко... Сама знаешь, кума, как там наша Рыста по-русски-то долдонит. Чуть не каждое слово — шиворот-навыворот. Только я поняла, што криву и нескору дорогу навещала нашим обозникам кыргызуха. А на прощанье она прокалякала: айда, дескать, спи мал-мала себе на здоровье. Не сумлевайся, мол. Главный боб доведет их до дому!

— Дай господь!.. — говорит со вздохом мама.

— Ты скажи, вот ведь — нехристь. Азия. А како-то там свое тайно слово и власть над бобами знат!.. — скороговоркой бормочет теперь уже как бы про себя, кутаясь второпях перед уходом в свой тяжелый черный плат, Платониха. — А теперь — побежала. Побежала. Побежала. Прошшай, кума! Там, по дому-то — хлопот полон рот. Не поверишь, и квашня-то ведь у меня, грешной, ишо даже не замешана!..

И Платониха — как всегда — мигом исчезает из моих глаз, с такой небабьей силой и яростью хлопая дверью, словно покидала наш дом в сердцах. Я очень настороженно прислушивался к сбивчивому, малопонятному для меня рассказу суетной бабушки про Рысту. Эту углеликую, сухопарую старуху-казашку я давным-давно знаю. Знаю. И побаиваюсь ее. Побаяиваюсь, как ту самую колдунью, которая летает в рождественские ночи верхом на помеле над нашей станицей и умеет притворяться то там какой-то озорной, шkodливой козой, то — натрыжной свиньей, то — льстивой, коварной собакой. Недаром же не один раз нарывались на нее в святочные ночи подвыпившие на вечерках старшие мои братья!.. А еще раньше — совсем в малые мои годы — принимал я Рысту за Бабу Ягу — костяную ногу, за три гроша куплену, по бокам луплену!

На самом же деле — как об этом узнал я опять-таки позже — Рыста была безобидной, кроткой и очень ласковой к нам — станичным ребятишкам — бабушкой.

Хорошо знаю я мужа Рысты — Шигарая — старого пастуха коровьего табуна в нашем краю станицы. Шигарай рядом с Рыстой выглядел совсем другим человеком. Это был обрусевший, смолоду прижившийся в станице старик — приветливый, доверчивый, добродушный. Говорил он по-русски, не скупясь на присловья, поговорки и прибаутки, не хуже иного станичного краснобая. Да и немудрая степного покроя одежда Шигарая — в отличку от Рысты — куда была более ухоженной, ладно сидевшей на нем, опрятной. А вельветовый черный бешмет его, надетый поверх коленкоровой, по-казахски просторной рубахи, всегда делал в моих глазах этого старика праздничным, молодежким, нарядным.

Все мне нравится и в обеих дочерях-близнецах Рысты и Шигарая — Дильде и Гильде. Все нравится. И такие веселые, складные их имена — Дильда-Гильда. И пунцовые их камзолы, унизанные серебряными монетами. И отороченные огненным лисьим мехом, набекрень надетые бархатные шапочки их с перьями филина на макушке. И даже пугливость и робость этих нездешних степных девчонок, хотя они на целых четыре года старше меня.

На какое-то время задумавшись о Рысте, о Шигарае, о картинных их девчонках-погодках, я вдруг почувствовал, что после мгновенного исчезновения бабушки Платоники еще сумнее, горше и тише стало сейчас в нашем непривычно безлюдном, словно вымершем доме.

И снова прислушиваясь к оторопелому, грозному клокотанью и темному, утробному вою печной трубы, я вижу — а скорее всего чутьем угадываю — какой безысходной тоской и тревогой охвачена мама, и ее до предела напряженная душевная настороженность исподволь, неосознанно, подспудно передается и мне.

Я, собравшись в комок, молча сижу у трубы, украдкой поглядывая за тем, чем занята в эти минуты мама. А она — то присядет за прялку и, искусно крутнув раза два-три веретеном, тут же замирает в неподвижности, чутко прислушиваясь к чему-то. То, оставив прялку, вмиг метнется вспугнутой птицей к занавешенному вьюгой окошку, норовя разглядеть за ним что-то, видимо, ей примерещившееся. То, снова присев в кути на лавку, принимается, проворно работая стальными спицами, довязывать из поярковой шерсти мою варежку... И мне становится понятным, что суматошная, сбивчивая болтовня бабушки Платоники не только не утешила, не успокоила ее, а наоборот, разбередила ей душу!

Но вот, вдруг вся вострепнувшись, высоко запрокинув голову, она вновь замирает в неподвижности, и я замечаю — как резко меняется выражение ее как бы разом помолодевшего, посветлевшего лица. Потом, отложив в сторону спицы с недовязанной моей варежкой, она, выпрямившись, полушепчет, несуетно крестясь, слова молитвы:

— Слава тебе, господи! Слава тебе... Внемли гласу всех страждущих и обремененных. Яви же милость свою ко всем странствующим и путешествующим в сие неурочное время!..

И только тут вдруг явственно различил я в шуме бушующей вокруг нашего дома метели грозно рокочущий, как отдаленные грозовые раскаты,

густой, басовитый, мятежно-напевный звук. В клочья раздирая тугие, яростно трепетавшие паруса пурги, торжественно разливался он перекатными волнами над открытым штормовым морем глубинной степи,— покоряющий, повелительный, властный!

О, это был тот самый, до боли знакомый мне звук, который когда-то смутил, привел в трепет оторопевшую младенческую мою душу и, наверно, продолжал жить в ней тайно, не умирая и по сей день... Да, это был тот самый звук, который я так давно полюбил,— полюбил и боялся его.

То был Он — Главный колокол, подававший сейчас вечерой свой голос в ночи всем обремененным и страждущим путникам, настигнутым этой пургой в дороге. И мне теперь стало понятным, отчего вдруг просветлело как бы разом помолодевшее лицо мамы, и у меня отлегло от сердца от утоленной этим ночным благовестом ее печали...

А совсем я воскрес, ошалев от радости, когда в эти минуты, громыхнув промерзшей дверью, вкатились нежданно-негаданно в наш дом два снежных кома, в которых я тотчас же, едва не упав с печки, признал своих дорогих друзей — Троньку Михайлова и Денисова Пашку.

— Хлеб да соль, хозяева!— сказал баском Пашка, отряхиваясь от снега, как гусак от воды.

— Чай с сахаром! — по-своему приветствовал нас Тронька, бесцеремонно сбрасывая с плеч торчавшую на нем колом овчинную шубенку.

— Милости просим. Милости просим, полуношники!.. Раздевайтесь, коли пожаловали, и — на печку!— добродушно откликнулась на их приветствия мама.

— Слышите, блавестить в Главный колокол начали!— сказал, стягивая с ног подшитые пимишки, Пашка.— И всю ночь будут блавестить. До свету. Буран потому што — ни зги!.. И наш братка Тима в церковь ушел. И ишо другие всякие там казаки. Оне — в очередь. Один в колокол бьет. Други — в сторожке спасаются... А уж братка Тима тама в этот колокол врежет дак врежет — я те дам! Хоть за двадцать пять верст — и то будет слышно!

— Неладно так про колокол говорить, Паша. Неладно. Не то слово...— строго оговаривает его мама.

Пашка толком, видимо, ничего не понял. Но на всякий случай обиделся. Глухо, под нос пробурчал:

— Братка жа у нас — богатырь...

— А нас с Пашкой ночевать к вам наши насовсем отпустили,— сказал тут Тронька, испытующе покаясь на маму.

— На спевку с Ванькой,— поспешно уточнил баском Пашка.— Мы жа его славить с собой поведем послезавтра. А без спевки ково нам с им делать? Неково. Только зря в ногах будет путаться. И всю обедню нам с Тронькой испортит.

— А вот за это — спасибо вам, ночевальщики!— оживилась мама.— Вот и пришла пора — привел бог и нашему Ване Христа славить... Правильно, подучите-ка там его маленько. Сладьтесь с ним. Спойтесь. Приноровитесь. А пока — за стол. Тюрей вас на сон грядущий попотчую.

При упоминании тюри меня будто ветром снесло с печки на пол. Тюря — искрошенный, заваренный в крутом кипятке с луком и солью пшеничный калачик — самое желанное мое кушанье. Правда, всего какой-нибудь час тому назад мама меня уже ею вдоволь напотчевала. Но я вновь безмерно рад случаю полакомиться любимой заварухой — да еще из одного горшка с такими друзьями!

И мы с Пашкой и Тронькой, усевшись рядком за столом на одной скамейке, расторопно заработали деревянными ложками, смачно уплетая за обе щеки крутое, горячее варево.

— Вас бы только в работники нанимать, любо поглядеть — как проворно едите! — похвалила нас мама.

Мы же, мигом опорожнив от тюри семейную нашу глиняную миску и абы как перекрестясь, ринулись, как подстегнутые кнутом, друг за дружкой на печку.

Тронька с Пашкой постарше меня, каждый — на целых два года. Они уже школьники — ученики второго класса Пресновской казачьей начальной школы. И оба даже прислуживают — по большим праздникам — в церкви, помогая дедушке Арефию в непоседливой, хлопотливой его работе. Ставить богу свечи. Снимать с них нагар. Подливать лампадное масло в мерцающие перед алтарным иконостасом светильники» Обходить с медными, жарко горящими подносами молящихся прихожан, собирая медяки, серебро, а то, глядишь, и трехрублевые бумажки — посильные жертвования людей в пользу храма.

Я уже не один раз видывал их обоих во время утренних и вечерних богослужений в церкви, на которые пристрастился ходить с мамой, видел и не узнавал их — ни Троньки, ни Пашки. Они совсем были здесь другими — какими-то нездешними, недоступными. В нарядных, серебристо-светлых длиннополых церковных одеяниях, они, казалось мне, не ходили, а скользили, как на незримых коньках, по вощеному полу церкви. И я, снедаемый тайной к ним завистью, трепетал перед ними.

Иногда во время службы мне страшно хотелось шепотком окликнуть по имени того или другого из них. Но они проходили мимо с устремленными куда-то вполувывсь словно незрячими глазами и делали вид, что не узнают меня. И мне было до спазм в горле обидно, что даже тогда, когда я оробело выкладывал на круглые их подносы сунутые мне в руку мамой наши медяки, — даже в такую минуту ни Тронька, ни Пашка как будто не замечали меня.

Вот тут-то вместо былого блаженного трепета перед этими церковными служками принималась исподволь разбирать меня слепая, яростная злоба против них, злоба попеременно — теперь уже с черной завистью. Но, вспомнив о том, где нахожусь сейчас, я старался внушить себе, что это начал подзуживать меня сам сатана, и потому норовил укротить себя, подражая маме, коленопреклоненной молитвой...

Это там — в церкви.

А вот здесь, дома — мы ровня. Сидим, насытившись тюрей, кружком — ноги калачиком — посреди нашей просторной и опрятной, как горница, печки. Ровня-то ровней, да не совсем. Пашка и тут наотличку. Он ведет себя так, будто

не он к нам пришел с ночевой, а меня допустил из милости на свою домашнюю печку.

Началось с Троньки. Тот, схватив попавшую под руку березовую лучинку, решил изобразить перед нами залихватского балалайщика и, затренькав пятерней по воображаемым струнам, тихонько — не без озорства — запел:

Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела!

И такая безобидная вроде Тронькина вольность вдруг довела Пашку до полного бешенства. Его будто на моих глазах подменили, и он вмиг еще стал чернее лицом от нахлынувшей на него ярости.

— Вот ка-а-ак врежу!— свирепо зашипел он, замахнувшись на Троньку в сердцах вырванной из рук лучинкой.— Ты што, язви тебя, оглох? Не слышишь, в Главный блавостят?! Я тебя за этим к Ваньке с ночевой привел? В балалайку брякать?!

— А чо ты взъелся? Чо ты пасть на меня разинул? Гляди-ко, развоевался на чужой-то печке!..— стойко начал обороняться от внезапного Пашкиного наскока Тронька.

— Замри! Я и Ваньке врежу, ежели заслужит...— огорошил тут заодно и меня Пашка.— Для меня бара бери, ежели сказать вам по-кыргызски, чья это печка!..

Мама, закрывшись в горнице, не видела и не слышала нашей возни на печке. Оттого-то так с ходу и распоясался Пашка, пригрозив нам обоим за любое неповиновение ему — самозваному нашему жожаку — крутой над нами расправой.

Наступило тягостное молчание. Не глядя один на другого, мы натужно сопели, как после кулачной потасовки, и я, насторожившись душой, выжидал, гадая о том, какое еще коленце внезапно может выкинуть сварливый, крутой на руку Пашка.

Между тем печная труба продолжала аукать, стонать, клокотать и выть. А ночная пурга, будто ломаясь в наш дом, гулко барабанила упругими крыльями в наглухо закрытые ставни.

И далеким-далеким, бесконечно печальным и одиноким казался теперь долетающий сейчас до нас трубный звук приглушенного и какого-то как бы вроде затемненного вьюгой колокола.

Мы притихли, невольно прислушиваясь к этому тревожному, скорбному звуку. И это он, наверно, вдруг усмирил вспылчивую, как порох, душу Пашки, незаметно примирив заодно и всех нас.

— Ладно. Мир на земле и в человецех благоволение!— сказал теперь уже совсем другим голосом Пашка, и цыганское лицо его на какую-то долю минуты чуть посветлело от смутной повинной улыбки.

Изредка прислуживая в церкви дедушке Арефию,

Пашка временами терся и среди клиросных певчих. Он видел, как теми бойко управлял регент — расторопный кузнец и коновал Лавр Тырин, и сейчас,

принимаясь за спевку с нами, Пашка воображал, как видно, себя тем же суетливым и властным регентом и выбивался из сил — во всем подражать ему.

— Глядите сюды!— скомандовал нам с Тронькой Пашка, приподняв над правым ухом лучинку.— Это — мой камертон. До-ре-ми-фа- соль-ля-си-до! Понятно?!

— Валяй. Валяй. Зачинай, Паша...— примирительно кивнув ему рыжеволосой головой, сказал Тронька.

Я ничего пока не понял. Но сдержался — смолчал.

— Я буду петь басом. Тронька — альтом. А ты будешь у нас на выносе — канючить дискантом,— категорично сказал мне Пашка.

— Будешь подпевать нам, Ваня, самым-самым тонюсеньким голосом,— объяснил мне ласково Тронька.

— А ты хоть слова-то все вызубрил?— в высшей степени подозрительно покосясь на меня, строго спросил Пашка.

— Учили с мамой...— уклончиво ответил я.

— Смотри у меня! Штобы там — не через пень колоду. Не путать. Не запинаться. А то — врежу!— приструнил меня Пашка для проку.

— Ну, а теперь — замерли...— предупреждая побрякав своим камертоном о печную трубу, опять скомандовал Пашка. А затем, плавно помахивая лучинкой, смежив веки, басовито завел:— Рождество твое, Христе-бо-же на-а-аш...

— Во сия мира и свет ра-а-зума,— живо подхватил своим альтовым голосом Тронька.

Тут, не оробев, с лету подключил неокрепший, задиристый голос к нашему хору и я,— сам удивился потом тому, как стройно, душевно и ладно полилось наше духовное песнопение под вторы завывавшей печной трубы и приглушенных метелью звуков трубившего в ночи далекого колокола.

Пашка пел с закрытыми глазами, как слепец — калика переходжий. В подражание ему смежил ресницы и я. И правда, так — зажмурившись — почему-то было лучше слушать не только певчих моих приятелей, но и самого себя...

Завыла печная труба. Бил и бил, не переставая — с расстановкой, с раздумьем — недремлющий по случаю непогоды колокол. Мы же, самозабвенно упиваясь своими стройно слитными голосами, не вникая в затемненный смысл каких-то полунашенских, полупотусторонних слов, пели: Тебе кланяемся, солнце правды, Тебя видим с высоты Востока... Ангелы с пастырями славословят, Волхвы же со звездой путешествуют...

Поначалу спевка шла у нас хорошо — лучше некуда. Но вот Пашку, будто ткнутого шилом, вдруг подбросило с задницы на коленки, и он, оборвав нас сабельным взмахом лучинки на полуслове, вновь озверело набросился на Троньку:

— Кол мне на твоей башке тесать, обормот?!— зарычал, угрожающе размахивая перед Тронькиной мордой своей лучинкой, мгновенно осатаневший Пашка.— Сколько раз тебе, варнаку, говорено? И небо со звездой учухуся,—

так надо петь. Учахуся, а не учохайся, как ты боронишь!.. Вот попробуй мне ишо один раз проборонить свое учохайся,— ух, и врежу! Ух, язви тебя, и врежу!

— Чо ты вяжешься ко мне? Чо ты вяжешься? — снова начал обороняться Тронька.— Ну, какая тебе разница — учохайся там али учахайся? Кто нас впотьмах разберет, когда вгорячах станем славить?!

— Ага, угодил, обормот, в небо пальцем!— сказал со злорадной усмешкой Пашка.— А попадья?! А монашка Физанька?! А просвирня? Этим тоже, по-твоему, бара бери, што учохайся, што учахуся? А ты знаешь, тем, которые без запинки, по всем правилам славят,— там по круглому пятаку на рыло подают!

— Ну ладно тебе. Не ерепенься!— пробурчал, стремясь к примирению, с виноватой ухмылкой Тронька.— Я это твое учахуся так промычу, што и сама попадья не придерется. Ни попадья. Ни Физанька. Ни просвирня!

Пашка, по-бычьи скобенив лохматую башку, подозрительно присмотрелся к невозмутимому Троньке и, не сразу найдясь, как ему на это достойно ответить, сказал, пренебрежительно отмахиваясь от него лучинкой:

— Шляпа ты с ручкой!.. Недаром и прозвище у твоего родимого тяти — кошма!

Тут Троньку тоже, должно быть, кольнуло шилом, и он, как и Пашка, стремглав вскочив на коленки, перешел от обороны в атаку.

—А ну-ка ты тут у меня пасти не пяль на тятю!— зашипел в свою очередь на Пашку дрожмя задрожавший Тронька.— Пусть мой тятя — кошма. Ладно... А у твоего бати прозвище ишо почише — граммофон!

По всему было видно, что Тронька этими словами, как щелчком по лбу, ошарашил Пашку, и драка между ними показалась мне уже неминуемой. Однако Пашка, придя в себя, вопреки очередному, такому как будто бы сейчас неизбежному взрыву ярости, вдруг весь обмяк и сказал, совсем не зло улыбаясь:

— Ну, это ты, Тронька, зря мешаешь божий дар с яишницей... Граммофон все же не кошма — музыка! Позабыл, как прошлогодним летом мы его слушать к Минькиным вместе бегали? К Ванечке с Софочкой!.. Вот и он — Ванька — от нас не отставал, тоже пялил рот на граммофонную трубу вместе с нами.

Это правда. К пятистенному, крытому оцинкованной жестью нарядному дому Минькиных, когда его хозяева — Ванечка с Софочкой — заводили в погожие летние вечера станичную невидаль — граммофон, летели сломя головы не только мы с Пашкой и Тронькой. Туда валом валили и прочие станичные ребяташки. Да и не только ребяташки. Толпились под окошком минькинского дома и люди постарше — молодые и пожилые казаки и казачки.

Ванечке с Софочкой было в ту пору, видимо, уже за пятьдесят, и я их считал глубокими стариками. Но я почему-то нисколько не удивлялся тому, что этих, уж очень каких-то чистеньких, каких-то вроде невсамделишных картинных старичков поголовно все пресновчане — от старого до малого — только так и называли: Ванечка с Софочкой!

Ванечка был акцизным чиновником. Не шибко броская на вид, мелкорослая, курносенькая Софочка слыла среди пресновчан просто за барыню, состоявшую при Ванечке. Они были неразлучны. В церковь, на званые вечера или с праздничными визитами по домам именитых станичников хаживали всегда рядышком — под ручку. Ванечка — в котелке, с дутой игривой тросточкой с серебряным набалдашником. Софочка — в кружевном капоре с разлетными поднебесного цвета лентами, с бисерным ридикюльчиком на правой ручке.

Ванечка с Софочкой очень гордились своим граммофоном, выписанным ими по объявлению в журнале «Нива» из Санкт-Петербурга. Нацелясь через настежь распахнутое створчатое окно оранжево-золотистой трубой на наш переулочек, Ванечка с Софочкой принимались потешать сбежавшихся пресновчан своей петербургской невидалью.

Ванечка, с загадочным видом поддерживая пружинный завод, крутил граммофонную ручку, как крутят веялку. А Софочка, надменно поджав губки, меняла пластинки. И огромная оранжево-золотистая труба, содрогаясь, извергала из таинственной своей утробы на нас, столпившихся под окном зевая, потоки звуков.

Меняя на граммофонном диске пластинки, Софочка, слегка прикартавливая, жеманно говорила:

— А теперь, господа станичники, послушаем с вами знаменитую — в далеком от нас Санкт-Петербурге — цыганскую певицу Варю Панину!

Или:

— А сейчас, друзья любезные, нам споет романс «Гай-да, тройка, снег пушистый» сама прославленная мадам Вяльцева!

Или:

— Ну, а тут — умрете со смеху, господа, Бим-Бом. Известные всей просвещенной России клоуны!

Мне нравилось все. Граммофон. Ванечка с Софочкой. Полурыдающие голоса незримых петербургских певиц — Вари Паниной и мадам Вяльцевой. Нравилось, что Софочка всех нас называла господами станичниками, и это вроде бы относилось теперь даже и к нам с Пашкой и Тронькой, сучившим пыльными босыми ногами возле минькинской завалинки.

Вот и сейчас, вспомнив про роскошный минькинский граммофон, Пашка просветлел ликом, позабыв даже про обиду, причиненную ему Тронькой. Сложив рупором поднесенные ко рту ладошки, он, изображая из себя заведенный граммофон, вдруг, подпрыгивая, запел:

Запрягу я тройку борзых Темно-карих лошадей. Дам я кучеру на водку,—
Погоняй, брат, поскорей!

По привычке кони знают, Где сударушка живет, Снег копытами
стребают. Ямщик песенки поет!

Пашка, действительно, завелся, как настоящий граммофон. Но он так же внезапно умолк, поперхнувшись на полуслове, как умолкал, бывало, не раз и у Ванечки с Софочкой их санкт-петербургский граммофон, когда лопалась в нем пружина.

Было похоже, что у Пашки тоже лопнула заводная пружина, когда в шумно распахнутых горничных дверях показалась мама, и я сразу понял, что нам несдобровать!

Так оно и вышло.

— Это ишо што тут за веселье?!— строго прикрикнула на нас мама.— Заместо духовного христославенья — блудные песни?!

— А мы, тетя Уля, уже спелись!.. Славить вашего Ваньку возьмем — не раскаемся!— поспешил обнадежить ее встрепенувшийся Пашка.

— А коли спелись, марш — на полати! Нечего мне из-за вас, полуношников, керосин зря палить,— подала нам команду мама, увертывая висячую семилинейную лампу.

А на полатях нам еще лучше, уютнее, чем на печке. Сунув второпях в изголовье кому что попало под руку из бросовой одежки старших нашей семьи, мы укладываемся вповалку на старенькой, издавшей виды кошме и на какое-то время затихаем. Сопим, прислушиваясь к угрюмо гудящему над потолком чердаку и к совсем теперь уже глухим, полувнятным ударам колокола.

Временами нам кажется, что на чердаке прямо над нашими головами то и дело затевается между кем-то суматошная толкотня, беготня, всеобщая свалка и потасовка.

— Это там — черти,— говорит сонным голосом Пашка.— От бури попрятались. И от колокола, оне его ужас как бояться!.. Гляди-ка ты, в чехарду-езду разыгрались, сволочи!

— Черти по чердакам не прячутся. Оне по баням спасаются. Под парильным полком. Тама их постоянное жительство... А на чердаке это домовые потешаются!— тоже сквозь дрему бормочет Тронька.

— А это правду сказывают, што твой братка Тима живьем их недавно видел?— борясь кое-как со сном, спрашиваю я Троньку.

— Своими глазами, как пить дать!..— горячо с клятвенным пылом полушептал Тронька.— А дело как было? Воротился в тот день к вечеру братка из извозу. В город Атбасар с красным товаром ходили... Ну, выпряг лошадей. Поставил под навесом на выстойку, штобы с дороги схлынули, а потом — поить. Выстоялись кони как надо, и повел их Тима на озерную прорубь. А была разужасная полночь!.. Напоил — и домой. Только видит братка на обратной пути, в одной баньке, котора на берегу, вроде бы оконце светится. Што за язва? Кому это из крещеных в башку набредет в таку пору в бане париться? Нет, тута чо-то не то! Привернул он коней к бане, пригляделся к оконцу, а там — оне! Тринадцать голов!

— Черти?!— спрашиваю я упавшим голосом.

— Ну. Оне!..— категорично подтверждает Тронька.— Усялись под полком возле поганого корыта и сырой кобылятиной кормятся!.. Тут их братка в сердцах по большой матушке и огрел. Это чо, говорит, растуды вашу мать, вы в чужой бане распировались?! Но-о, тут оне и взревели — всех святых выноси! Тима — подай бог ноги — рванул с места карьером к дому. А оне — всем аюром в тринадцать голов — за им вдогонку! Визжат. Кувыркаются.

Норовят уцепиться за конские хвосты... Ну, не на тех коней нарвались, дьяволы! Да и братка был не дурак: как только влетел со всего маху во двор, разом с вершной — шмыг под хребтуг с овсом. А под хребтугом для чертей Тиму — Митькой звали!

— Почему Митькой?— ничего толком не понимая, с тревогой спрашиваю я.

— А вот по тому самому, што под хребтуг с божьим знаком, как в алтарь,— никакого доступа для нечистой силы нету!— опять так же категорично, почти уже грозно говорит Тронька.— Про эту науку братка ишо от покойного нашего дедушки Тараса слыхивал. Тот — в молоды его годы только под хребтугом с овсом от всякой нечисти и спасался... Тут главно дело в ловкости и в терпенье. Изловчился в один момент под хребтуг от их сигануть, тут уж никака там холера тебя не тронет!.. А Тима изловчился. Сиганул с вершной под рядно с овсом. И притаился там. Усмирил дух. Замер. Лежит себе, как новопреставленный раб усопший — руки к сердцу, и ждет третьих петухов!

— Почему третьих?— допытываюсь я, едва-едва уже шевеля малопослушными губами.

— А потому, што третьих петухов оне, суки, страшатся, как самого божьего колокола!— полу шепчет, словно в полузабытьи, Тронька. И чуть смолчав, натужно посопев носом и, видимо, преодолев-таки на минуту сковавшую его дремоту, бормочет:— Ох и покуражилась жа в ту растемную-темную глуху ночь эта чертова дюжина над браткой! Но Тима выдюжил, перехитрил их. А как только третьи-то петухи враз загремели под поветями, тут чертям стало невмоготу. Охолодели, взвыли оке от ужасу и враз провалились все скопом скрозь мать сыру землю, прямо — в тартарары!— заключает Тронька, и последнее слово его сливается с кротким, похожим на голубиное воркование храпом погруженного в сладкий сон рассказчика.

— Ух, и вр-ррежу!..— грозит кому-то из нас Пашка. Но грозит, к счастью, уже во сне — не наяву! Черти проваливаются в тартарары. Но домовые на чердаке продолжают игру в чехарду-езду. По-прежнему гудит и клокочет, захлебываясь пургой, печная труба. Все глуше и глуше, все печальнее и печальнее звучит где-то вдалеке-вдалеке одинокий, овейанный вьюгой колокол. И убаюканный миротворным его колыбельным напевом, засыпаю и я. Засыпаю, охмелев от тепла и уюта под сенью надежного отчего крова.

И приснилось мне жаркое лето. Степь с мерцаньем текучих марев над бегущими ковыльными волнами. Ржавые коршуны-самострелы, державно парящие в голубом огне знойного неба, и застолбившие свои норы сурки, упоенные мирным, ласковым пересвистом. Белые, как кипень, юрты кочевых аулов и темный увесистый дым кизячьих костров. Полудикие конские табуны и пугливые овечьи отары. Узкобородые, седые как лунь библейские пастухи с потемневшими от времени древними посохами и упавшие на гривы коней сухопарые, верткие, как дьяволы, степные джигиты в смерчевых вихрях байги — лихих праздных забавах зоркоглазого, кочующего в целинных степях народа...

А потом снился веселый березовый перелесок с тихой лесной опушкой, щедро усыпанной темно-багровыми ягодами пахучей клубники. И я собирал эти пропитанные ароматами теплой земли и меда бражные ягоды в невесомый берестяной туесок, привезенный мне братьями в дар с далекой ирбитской ярмарки.

От томительно-сладковатых, нежных, вкрадчивых запахов буйного разнотравья, от мерцающих, искрящихся в траве ягод, от глухого лесного зноя у меня слегка кружилась, хмелела и млела от рождения приученная и к жару и к холоду обнаженная моя голова.

А мама, то и дело окликая меня откуда-то из сквозной глубины белостволого перелеска, звала и звала к себе. Но я, откликаясь на певучий, ласковый ее голос, не в силах был оторваться от неслыханного пиршества вызревших, брызжущих винным соком ягод, с нетерпеливой, лихорадочной поспешностью наполняя ими свой — теперь уже увесистый — туесок.

А огромный, вроде годовалого бычонка, чубарый наш волкодав Терзай — гроза всех станичных и аульных собак — неразлучен со мною и здесь, на живописной лесной опушке. Ему жарко. Он сидит на задних лапах в тени молодой, прямой как свеча березки и, выпялив из разинутой пасти трепещущий огненный свой язык, бурно и часто дышит, глядя на меня добрыми, насмешливыми глазами...

Теплые волны полуденного света заливают продувной перелесок, просторную лесную опушку, густо покрытую пышной, зеленовато-лиловой вязелью, султанами атласного ковыля, застенчивыми полевыми цветами. И свирельный наигрыш незримых кузнечиков перекликается с томным, завораживающим жужжанием золотых шмелей, с миротворным пострекиваньем надменно-нарядных стрекоз, с трепетным порханьем над благоухающей травяной пестрядью простодушных бабочек-однодневок.

И взирая на этот светлый, животрепещущий мир изумленными, широко раскрытыми глазами, я радуюсь тому, что все мы — мама, я, Терзай — оказались сегодня в гостях у лета, на дивном его пиршеском празднике! Видно, теплые лучи животворного этого света коснулись и моей восторженной детской души. И я был безмерно рад всему тому, что видел теперь вокруг себя. Разомлевшим от зноя, недавно умытым озорным мимолетным дождем березкам. Незатейливым полевым цветам. Пылающим в траве ягодам. Золотым шмелям. Некичливым бабочкам. Нарядным стрекозам.

Я был рад и счастлив. Счастлив тем, что был не одинок на этом празднике царствующего лета, что берестяной туесок мой еще стал увесистей и полнее, что мама все время помнила обо мне и ласково окликала меня из глубины перелеска и что добрый Терзай, страдая от жары, не покидал меня, снисходительно и насмешливо следя за каждым моим движением...

Вот таким же радостным и счастливым проснулся я на полотах в то позднее декабрьское утро, когда ни Пашки, ни Троньки рядом со мной уже не было.

В первую же минуту пробуждения я понял, что метель утихла, и сердце сладко дрогнуло, когда я услышал голос старшего брата.

— Не переменись к полночи ветер, нам бы и слыхом не услышать колокола,— говорил Иван.— А как вдруг подуло совсем с другой стороны, тут мы и услышали и узнали его. По голосу сразу определили: наш Главный бьет! Тут мы и ожили!..

— Если бы только одне мы — люди. А лошади? Ведь их в момент — на глазах у нас — будто тут подменили!— слышу я голос Дмитрия.

— Это так точно,— подтвердил Иван.— И кони приободрились... Ну, сняли ребята шапки. Перекрестились. Разнуздали лошадей. Вывели в голову обоза нашего Рыжку,— знаете же, какой он у нас шустрый?! Ну и тронулись напрямик. По убродному снегу. Встречь ветру. Вслепую. На звон!..

Тут я, приподняв над полатями ситцевую занавеску, увидел сидящих за столом обоих братьев, отца и маму.

Братья хлебали из деревянной семейной миски дымящуюся уху из вяленых карасей. Отец же с мамой, не прикасаясь к еде, с тревожным изумлением на озабоченных лицах слушали их рассказы о том, как они чудом ушли от неминуемой, казалось бы, гибели в буранной степи минувшей ночью. Я тоже, притихнув душой, прислушивался к их рассказам с напряженным вниманием. Но вдруг, улучив момент, я, как с печки упав, радостно воскликнул, чихая:

— Здрасьте, братки!

— Э, да ты у нас вон где?!— удивился Иван, взглянув на меня улыбочивыми глазами.— Здравья желаю, тезка!

— Здорово, здорово, братенек!— откликнулся, кивая мне, и Дмитрий.

— А ты чо жа это, выходит, всю обедню проспал?!

Пашка-то с Тронькой, пока ты дремал, всю станицу ошвашили. Засветло отстрадавались. Полны штаны серебра наславили!— сказал Иван, поглядывая на меня с притворной укоризной.

—Ладно тебе, братка!.. Не обманывай. Седня же только сочельник!— убежденно ответил я, отбиваясь от его шутки.

—Нашего воробья на мякине не проведешь!— сказала обо мне мама, добавляя в миску ухи проворно завтракавшим ребятам. Все засмеялись.

—Ну, уж если ты у нас такой грамотный, то получай курганский гостинец!— сказал Иван и, встав из-за стола, протянул мне на полати мерзлый вяземский пряник.

Я был рад городскому гостинцу. Рад был братьям, благополучно воротившимся домой из нелегкого дальнего извоза. Рад был близкому, самому веселому и нарядному в году празднику — рождеству и еще более красочным, озорным и заманчивым — святкам!

Но у меня захватило дух, когда я, подняв глаза, увидел за окнами необыкновенное зрелище — чудо. Порозовевшие от восхода сугробы снега и белостволую, как свеча, молодую березку в нашем палисаднике, прикрывшуюся легкой, словно сотканной из лебяжьего пуха, узорчатой кружевной накидкой. Озаренная резким светом раннего утра, она стояла не шелохнувшись, и только в набрякших серебряных ветках ее, щедро униженных гранеными

подвесками, дробились, переливаясь, голубоватые искрометные огоньки. И я, задетый за душу нерукотворной, сказочной прелестью этого чуда — стройностволой красавицы в зимнем уборе, позабыв про зажатый в руке вяземский пряник, не в силах был оторвать от нее своих жаром горевших глаз.

А потом я увидел, как из наших ворот вихрем вырвался на холмистую от снежных суметов улицу мой любимец — полугодовалый саврасый жеребенок, а следом за ним кубарем выкатился притворно рассвирепевший Терзай. И очутясь за воротами, почуяв простор и волю, они учинили лихую игру, похожую на нашу ребячью свалку.

Плотно сбитый юркий Савраска, зло прижав бархатные ушки и изогнув дугой тугую палевую шею с темной стоячей гривкой, бешено носился, как заводной, купаясь в снегу, по кругу. А Терзай, с головой проваливаясь в рыхлые снежные надувы, метался из стороны в сторону, крутился волчком вокруг увертливого жеребенка, то пытаюсь, высоко подпрыгнув, уцепиться свирепо разинутой пастью за упругий трубчатый его хвост, то норовя оседлать с разбегу его гибкую, протороченную продольным черным ремешочком спину. Все мне казалось значительным, трижды благословенным, прекрасным в это яркое, умиротворяюще тихое декабрьское утро. И все сейчас бередило мне душу, трогало, радовало. И принарядившаяся — по случаю праздника — сияющей чистотой и опрятностью, залитая утренним светом наша горница. И начищенный гущей, позолотевший и помолодевший медный наш самовар. И мирный перекур усевшихся под порогом братьев, отогревших под домашним кровом, насытившихся горячей ухой. И сверкавшая под окошком ливневым серебром березка. И озорной мой Савраска со вспылчивым, заводным Терзаем, учинившие — на потеху и старым и малым — суматошную и веселую, как чехарда-езда, игру.

Я смотрел на все это, как бы вторично рожденный после минувшей метельной ночи с ее бесноватыми домовыми, одураченными Тимой чертями и далеким, глухим и горестным колокольным звоном, неподвластным сатанинскому реву озверевшей пурги.

И теперь, когда я вдруг вновь уловил в эти минуты доносившийся издалека густой, низкий звук Главного колокола, возвестившего о предпраздничной утренней службе в церкви, я воспринял его совсем по-иному — не так, как минувшей ночью, — без душевной робости, близкой к страху.

Напротив. Всем своим существом я как бы слился сейчас с этим царственным, напевно-торжественным медноголосым звуком, и сердце мое, дрогнув, замерло от предчувствия близкого, дарованного мне днем счастья и от радости бытия!

Тут, забегаая наперед, расскажу заодно о том, как впервые в жизни очутился однажды я на колокольне нашей старинной станичной церкви, поставленной вятскими умельцами в тысяча восемьсот тринадцатом году.

Срубленная в лапу из могучих лиственничных бревен и обшитая снаружи продольными тесинами с пазами, имитирующими кирпичную кладку, пропитанная при многократных покрасках вековым наслоением белил, — церковь и впрямь выглядела белокаменной. Белокаменной. И в то же время —

как бы маловесомой, строго-нарядной, слитной, с шатровой, порывисто устремленной в небесную высь, увенчанной жарко горевшим крестом колокольной.

Церковь покоилась на самом возвышенном месте станицы — на Древнередутском холме бывшей сторожевой казачьей крепости, обнесенной земляными валами. Оттого-то так хорошо и видна была она издалека — со всех дорог, сходящихся с четырех сторон света к станице.

Мама часто внушала мне:

— Это не церковь у нас, сынок, а храм! А по храму и колокол, какого нигде, кроме как в нашей станице, век-повеки не услышишь!..

Мне тоже нравилось это слово — храм. Но особую прелесть, неповторимую, чистую красоту обретала церковь в дни летних гроз, когда поднималась она над станицей ослепительно белой, точно излучающей неземной зыбкий свет громадой на фоне аспидно-черных, как вороново крыло, грозových или градобойных туч! А шатровая ее колокольня с грозно сверкающим в черном небе, озаряемым вспышками цепных молний крестом казалась в такие минуты еще более царственной и недоступно высокой.

И вот однажды, незадолго до Троицы, когда шла в церкви уборка, и мама, в числе прочих станичных женщин, занималась чисткой алтарного иконостаса, лампад и иконных риз,— забрел я в полдень в церковную сторожку, и мне, к великой моей радости, удалось уговорить дедушку Арефия подняться со мной на колокольню.

— Не забоишься?— настороженно спросил дедушка.

— Ну, с тобой-то?! Поди, не так страшно...— неуверенно пробормотал я.

— Гляди. Подыматься-то ведь придется нам с тобой высоконько!..— многозначительно ткнув перстом вверх, предупредил меня напоследок дедушка.

И вот мы пошли.

Первым стал подыматься, старчески опираясь рукой на лестничные перила, дедушка, за ним — ни живой ни мертвый — я.

— Только, боже тебя упаси, не оглядывайся — не смотри вниз. Зри только вверх — в мою спину!— наставляет меня дедушка.

И я, затаив дыхание, прикусив губы, не спускал глаз с согбенной его спины, с коробившейся на ней ситцевой — в горошек — рубахи.

Спервоначалу я было принялся мысленно считать приступки, но вскорости сбился со счета не только ступенек, но даже и лестниц, зигзагообразно петлявших сперва под огромной куполообразной чердачной церковной крышей, потом по темному, угрюмому колодцу устремившихся в бесконечную высь колокольни.

Вняв строгому дедушкиному наставлению, я не пытался даже — куда там!— оглянуться украдкой вниз. А между тем все же какая-то темная сила искушала, подмывала, подталкивала меня сделать это...

На минуту задержавшись на одной из лестничных площадок, дедушка, переведя дыхание, спросил меня:

— Ну, как, верхолаз, вырастешь — в пономари поступишь?

— Вырасту — поступлю! — с искренней убежденностью ответил я.

— Тогда — все. Договорились... — сказал дедушка, продолжая поскрипывать ступенями новой лестницы.

Здесь, в колодце нижней части колокольни, было так темно, что я уже не различал дедушкиной спины. Я шел за ним, точно во сне, механически переставляя ступни босых ног с одной приступки на другую, и одержим был теперь только одним нетерпеливым стремлением — как можно скорее на божий свет из этой кромешно-темной под нами бездны.

Но вот дедушка остановился. Перевел дух. Затем, забренчав связкой ключей, отомкнул в потемках какой-то замок и, поднатужась, отбросил напрочь над головой тяжелую, гулко загремевшую западню.

И тут я едва удержался на ногах, ослепленный потоком нестерпимо-яркого голубого света, хлынувшего на меня сверху.

Уцепившись за протянутую мне руку дедушки, я не без страха перешагнул через бровку квадратного люка и оказался на колокольне!

У меня захватило дух от головокружительной высоты, на какую взлетел я впервые на девятом году своей жизни. У меня заподкашивались задрожавшие ноги. Присох язык. И по скованной ознобом спине зашныряли суетливые ледяные мурашки.

А дедушка, устало опустившись на выступ какого-то бревна, сказал, утирая потный свой лоб тыльной частью ладони:

— Ну вот и достигли мы с тобой, орел, высоты поднебесной!.. А ты бы тоже пока присел. Вот тута — со мной рядом. Отдохни. Оглядиись маленько. Пообвыкнись... — приметив мое оцепенение, ласково добавил дедушка.

Но я остолбенело стоял как вкопанный, не в силах сдвинуться с места. Все меня оглушало, валило с ног, поражало тут — в этом высотном царстве звящего небесного света, упругого ветра и каких-то полувнятных, вкрадчивых непривычных звуков и шорохов, доносившихся до меня неведь откуда.

Был ветреный день. Но там, внизу, на земле был ветер совсем иным, чем здесь — под шатровым верхом зыбкой, точно слегка покачивающейся колокольни. На земле этот летний ветер пах сухим конским пометом, полынной горечью, пылью, тут — прохладной свежестью великого множества раскиданных в окрестной степи озер, медовым ароматом бескрайнего, потонувшего в легкой призрачной дымке полевого простора.

Дедушка Арефий был прав. Я, действительно несколько свыкнувшись с этим новым, открытым мной миром поднебесной высоты и ослепляющего, пленительного, пьянящего света, понемногу пришел в себя и мало-помалу избавился наконец от былой, внезапно пригвоздившей меня к месту скованности в первые минуты своего появления на колокольне.

И вот, осмелев, набравшись духу, я, робко ступая, как бы крадучись, пробрался к центру колокольной площадки.

Это было странно, но только тут я увидел то, ради чего отважился подняться на эту шаткую, как мне казалось, световую башню,— колокола. Невеликие по размерам, вперемежку с еще мал мала меньшими, они неподвижно и безмолвно висели под дугообразными стенными проемами колокольни, и я трижды пересчитал их — одиннадцать колоколов! Однако у меня было такое чувство, что тут чего-то не доставало. Не доставало некоего иного дива и чуда, затаенно, как мнилось мне, подстерегавших здесь меня.

Но вот, вдруг будто подтолкнутый кем-то, я, запрокинув голову, тотчас увидел над собой это чудо — дымчато-сероватый раструб громадного колокола с увесистым свинцовым его языком, опутанным промасленным пеньковым канатом.

И я обмер, поняв, что это был он — Главный колокол, и у меня щемяще заняло сердце от восторга и страха перед ним.

Я долго стоял с высоко запрокинутой головой в неподвижности под этим огромным, как шатер, зернисто-шероховатым изнутри куполом колокола, настороженно прислушиваясь к едва уловимому дремотному утробному его гулу. И сердце снова сжималось в комок от безотчетной светлой печали, от озарившей душу тревожной радости, от невольного моего приобщения к какому-то, должно быть, значительному в моей жизни таинству, которое свершилось сейчас здесь надо мной!..

Затем, пристально приглядевшись, я отчетливо различил надпись, высеченную изнутри чуть повыше круговой колокольной кромки. Надпись гласила о том, что «Сей колокол сто пуд весу лит в Валдае в лето одна тысяча восемьсот одиннадцатое от Рождества Христова».

Я горел от волнения.

А между тем дедушка Арефий, примостившись на бревнышке, впал в дремоту. Скрестив на коленях узловатые, жилистые руки, он мирно прихрапывал, по-детски причмокивая губами. Он заснул здесь, как у себя дома на пригретой солнышком завалинке, и это почему-то понемногу утихомирило, уняло мое волнение и приободрило, и как бы приземлило меня.

А осмелев, я уже свободнее стал передвигаться по просторной колокольне. Переступая босыми ногами по скрипучим ее половицам, я обошел несколько раз вокруг Главного колокола, разглядывая его теперь снаружи.

Гладко отполированный за долгий свой век световыми потоками, грозowymi ливнями, градом, пургой, сквозными ветрами, тускло и сумрачно отсвечивая овальными, темно-зеленоватыми боками, он висел посреди колокольни, зацепившись ушами за могучие брусья, скрещенные под ее конусообразным куполом. И на крепкой, надежной привязи был сейчас безмолвствующий свинцовый его язык, опутанный упругим, привязанным калмыцким узлом к столбу пеньковым канатом.

Невзирая на многоликое семейное окружение из мал мала меньших колоколов — светлоголосых, отзывчиво-радостных его подголосков, Главный выглядел среди них отрешенным, угрюмым, глубоко одиноким и чем-то схож был, казалось мне, с темным ликом того сурового, погруженного в думу

библейского старца, который запомнился мне по одной из недревних церковных икон нынешнего письма...

Ниспадающий тяжкий подол колокола — сплав серебра и меди — был украшен славянской вязью — поясной надписью, и я, уже окончив к тому времени второй класс станичной начальной школы, где мы проходили церковнославянский, бойко — не один раз — перечел и навсегда запомнил ее.

Надпись на колоколе гласила:

«Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Приидите ко мне все страждущие и обремененные и Аз успокою Вы!»

...И уже потом, на земле, когда мы, спустившись с колокольни, сидели на ветхой скамейке под дремучими зарослями акаций, черемухи и сирени в церковной ограде,— дедушка Арефий рассказывал мне нечто вроде притчи о Главном колоколе.

— Этот колокол у нас — не простой. Жертвенный. Обетный!— сказал дедушка, многозначительно указуя перстом на колокольню.

— Как это?— встревожась, не понял я.

— А вот так, сударушка...— молвил старик со вздохом,— Давний это скад. Вековой. Темный. Даже наши деды, и те знавали его от старых людей — понаслышке... А как было дело? А так. В те дальние от нас времена за место нынешних станиц Сибирского казачьего войска стояли вдоль Горькой нашей линии — от реки Урала до самого Иртыша — сторожевы крепости и редуты. Это — для острастки незамиранных ишо в ту пору барымтачей. А те пошаливали в ту пору, сказывали стары люди,— я те дам! Барымтачили лихо. Строевых казачьих коней косяками в глухие свои степи с концом умыкали. Ну, да кони там ишо туды-сюды. Бог с имя, оне — дело наживное... Дак ведь эти азиаты заодно и казачьих женок арканили!

— Как это так — арканили?

— А вот так. Выйдут из крепости бабы в соседний берёзовый колок за ягодами, за груздями ли, а тама — киргизцы в засаде. Приглядятся дьяволы к той, котора придется по ндраву, и — аминь! Джжик ее волосьяным арканом вокруг тулова, а затем — в беремя, голубушку, да — по седлам. И на полном карьере — в степь! Прямым маршем — в полон. В неволю... А уж из тех диких степей полонянкам возврату в крепости не было. Попалась в петлю — с концом, как в воду канула. Только и поминай потом, как ее, матушку, величали! Вот так-то, сударушка...

Умолкнув, старик добыл из кармана берестяную табакерку с молотым табаком и, заложив в обе ноздри по щепотке, так затем расчихался, что на минуту даже примолкли озоровавшие в черемухе воробьи.

Меня же не переставала теперь волновать таинственная история Главного колокола, названного жертвенным и обетным, и я пока никак не мог понять того, какое отношение имели к колоколу те коварные барымтачи — похитители строевых коней и казачьих женок, о которых рассказывал мне сейчас дедушка.

Между тем старик, всласть начихавшись, сказал, бросая взгляд на колокольню:

— А теперь — про колокол... Нес в ту недобру пору караульну службу казачий гарнизон и в нашей крепости. А командовал гарнизоном наказной

атаман, их сиятельство граф Семилов, прибывший сюды с Кавказу. За заслуги перед отечеством он был обласкан в Санкт-Петербурге тогдашним государем и пожалован на новом месте участком в двести с гаком десятин из земель кабинета его величества!.. Был атаман этот — тертый калач. Крутой на руку. Старый рубака. Отец — для нижних чинов. Гроза — для супостатов!.. А прибыл он в крепость уже в годах. Вдовый. Но — не один. С дочерью — осьмнадцати лет. Единственной — напоглядку. Красавицей, сказывают, с лица воду пить! Без амбиции. Обходительной. Благородной, как надо...

— А как ее звали?— живо заинтересовался я.

— Звали — прошше некуда — Мария!— почти пренебрежительно ответил дедушка.— Ну да дело ишо не в этом... Дело в другом. В беде. Не повезло на новом месте стреляному атаману. Как гром среди белого божьего дня обрушилось бедствие на его седу голову. Занемогла вдруг ни с того ни с сего, по какой-то причине, стала сохнуть и вянуть день ото дня, и бац — обезножела барышня! Да так обезножела, што всякие там лекаря только руками разводили, а поставить ее на ноги не смогли. Лежит пластом второй год кряду девка, и баста!.. Ну, у атамана, понятно, от такой напасти — голова кругом. И служба — не в службу, и жизнь — не в жизнь!.. И тут кто-то там из тогдашнего простонародья отважился надоумить графа испытать счастья в нашском Горьком озере. А вдруг, мол, горячи озерны грязи в ак-курят и окажут пользу многострадальной барышне!..

— Это которое Горькое?— спросил я, потому что вокруг станицы таким горько-соленым озерам счету не было.

— Малое. В версте отсюдова. За Горькой дубровкой...— сказал, как бы отмахиваясь от назойливых моих расспросов, старик. И малость помешкав, пожевав вялыми губами, словно силясь припомнить что-то особо значительное и важное в своем сказе, продолжал:— С виду-то это озерико — так себе. Сам знаешь. Незавидно. Малоприметно. А вот — умозрительно! С загадками. Не озеро — тайное тайных!.. А пользительность его я на своем станом хребту испытал. На собственной поясице!..

Испугавшись, что старика снова начало заносить в сторону от того главного в его рассказе, что все больше и больше захватывало, волновало меня,— я поспешно спросил:

— Ну, и как граф — согласился?

— Погоди. Не торопись — не блох ловишь!— сурово прицыкнул на меня дедушка. И недовольный тем, что я опять перебил его, насупился, задвигав седыми, торчмя торчащими бровями.

Я притих, почувствовав себя виноватым, терпеливо выжидая, пока старик отойдет, сменив недолгий свой гнев на милость.

А он, помолчав, посопев, подувшись, как малое дите, тут же смягчился и заговорил — теперь уже с каким-то печальным раздумьем,

— А што граф?! Он теперь уж ничему больше — ни воде, ни огню не верил. Видно, одна только и осталась надежа в ем — на бога... Однако же к слову простых людей прислушался. Не побрезговал. Совету самозванных лекарей вял. И хвору барышню им доверил... Сам же тем временем тайно

отбыл из крепости — в Зауралье. В старинный Долматовский монастырь. И дал там потом в соборе обет: принести в дар пресновскому храму большой стопудовый колокол, отлитый по заказу! Вот каким тяжким долгом обременил он себя на старости лет перед богом... А все — ради дочери. Думал, за такую его жертву, может, господь и явит к нему милость свою, и свершится чудо — встанет на ноги дочь!

Снова умолкнув на самом интересном для меня месте своего сказа, старик опять было взялся за табакерку, но тут же, отложив ее в сторону, сказал:

— И вот веруй тут ныне этому али не веруй, а чудо, сказывали наши деда, случилось. Поднялась с одра барышня. Воскресла. Помог бог и добры люди... Обыгалась. Зацвела. Запела. Захорошела. Да только не на радость старому атаману — на беду!

— А што?!— спросил я упавшим голосом.

— Грех в их дому разгорелся непотребный из-за этого обетного колокола—вот што, сударушка!—проговорил с грозным укором дедушка Арефий, бросая пристальный взгляд на атласно-светлую башню колокольни.— Девка-то была — на выданье. Себе на уме. И на нажитое отцом добро свои виды имела... А тут — бах, неожиданно-негаданно для ее родителей чуть не подчистую всего имущества в прах лишился. Все поглотил жертвенный колокол. И наградной земельный надел. И целый табун графских рысаков. И все его золото-серебро. И даже последнее — эвон тот дом пришлось заложить в казну атаману!—указал перстом дедушка на старинный барский особняк с колоннами и мезонином, красовавшийся напротив церкви, который принадлежал теперь здешним богачам Боярским.

— Так дорого стоил колокол?!—спросил, ужаснувшись, я.

— А ты думал! Въехал в копеечку... Ведь мало было отлить его в Валдае по заказу, на собственный капитал., Надо же было ишо и на место такую махину за тридевять земель—скрозь всю Россию — сюды конной тягой доставить! А ведь это тоже стоило старому атаману и хлопот и денег немалых..

— Все же доставили!—радостно сказал я, как бы про себя, глядя на колокол.

— Доставили. И на колокольню, привел бог, подняли...

— А подымали как?

— Этого тебе не понять — на блоках... С первого разу, сказывают, он на подъем не пошел. Заупрямился. Будто к земле прирос. И народ зароптал. Это, мол, не к добру!..— рассказывал дедушка, не сводя глаз с колокольни.— Тогда отслужили второй молебен. И это не помогло. Колокол не сдвинулся с места — ни на вершок. Это была уже совсем недобра примета. Это уже пахло какой-то бедой!.. И люди — оторопели. А про графа и сказывать нечего. На ем, надо думать, и лица в ту пору не было!.. Но бог милосердив к нам, грешным. Явил он милость свою напоследок и к атаману. Через два дни после третьего молебствия в честь колокола он дрогнул и взмыл ввысь — плавно поплыл по блокам при павшем на колени народе... Стойко, без супорства взошел он на колокольню и занял там навек уготованное ему место!

Я не знал, что такое блоки. Но, слушая дедушку, живо представил себе это захватывающее дух зрелище — подъем колокола на глазах упавшего на колени народа. Я зримо видел, как, дрогнув, плавно, медлительно, величаво — поплыл он вверх, устремясь к настежь распахнутому арочному проему светлокрылой колокольни. И я воспринимал все это теперь как диво, как чудо, будто свершившееся на моих глазах — наяву!

Мы долго молчали. И я, не решаясь более тормозить старика назойливыми расспросами, сидел как замороженный, не сводя глаз с Главного колокола. И он снова казался мне неким одухотворенным, втайне живым существом, наделенным стойкой памятью и мудрым рассудком...

— А вскорости после того, как колокол был поднят, ишо одна лиха беда накрыла голову атамана,— заговорил дедушка Арефий после затяжного молчания.— Пропала Мария!

— Барымтачи?!—воскликнул я, - похолодев от догадки.

— Кабы барымтачи!..— презрительно сказал старик.—Сама, подлячка, с кыргызским принцем убегом в степь бежала!

— С кем?!— не понял я.

С принцем — ханским наследником из орды.

С нехристом...— проговорил сквозь зубы, брезгливо сплюнув в сторону, дедушка Арефий.— Мало — бежала. В бархатных камзолах — на их манер — ходила. Конину пятерней в юртах кушала. На домбре бурундить и песни поихнему петь наторела... И даже христианское имя свое в угоду им на Мариам сменила! От всего самого святого разом в прах отреклась, холера. От отца. От родной веры. От отечества!

— А атаман што?— насторожился я.

— Не спрашивай, сударушка!..— сказал, обреченно махнув рукой, дедушка.— Што — атаман? Почернел от позору. Высох от горя. Сгорбился от нужды. Одряхлел. Оскудел духом. Получил по службе отставку... А потом — суму на плечо. Посох — в руку. И ушел из крепости в странствия по святым местам. Года полтора, сказывают, бродил он пеша по зауральским монастырям — замаливал грехопадение беспутной беглянки... Замаливал, надо считать, с усердием. Да шабаш — не замолил!..

— А што опять?!— в предчувствии новой беды не удержался я от вопроса.

— Мне отмщение, и аз воздам! Так говорится в писании...— ответил на это дедушка и тут же пояснил:— Никакому вероотступнику не уйти от божьего возмездия. Не ушла от него и беглянка. Скору смерть свою нашла она на байге — конных игрищах. Знать, недобра сила, сказывали стары люди, вырвала ее — на полном карьере — из дорогого степного седла. И навек пригвоздило изменницу к сырой земле орды нековано конско копыто!..

Вновь взяв в руки берестяную свою табакерку, старик, задумчиво постукивая перстами по крышке, со вздохом молвил:

— Не стало вскоре и атамана. Нашли его поздней осенью верстах в трех от станицы — усопшим... Видно, почуяв близку кончину, ворочался он из дальнего странствия в крепость, чая помереть в близости от родного храма. А

может, и охота было ему напоследок послушать прощальный звон обетного его колокола!.. Ворочался былой атаман в свой крепостной гарнизон убогим и сирым странником. А скончался возле потухшего костра при дороге, с холщовой сумой — в изголовье!.. Предали тело его земле гарнизонные казаки с воинскими почестями. Поседылы как лунь пушкари из ядерных пушек пальбу с крепостного редута открыли. И колокол кончину его оплакал!.. Ты видел в церковной ограде чугунную плиту на его могиле?— спросил в завершение скорбного своего сказа дедушка.

Я молча кивнул в ответ ему головой. Видел. Не раз перечитывал начертанные на ней литыми буквами слова надгробной эпитафии и — как поясную славянскую вязь на Главном колоколе — знал ее наизусть.

Надпись на могильной плите гласила:

«Здесь покоится прах Лейб-Гвардии Кирасирского Его Величества полка штабс-капитана — командира Пресновского крепостного гарнизону — Наказного атамана графа Селиверста Захарова-Семилова, одарившего крепостной храм Большим колоколом в лето 1811-е. Рожд. 1753. Сконч. 1815 г. Мир праху твоему, командир отец. Благодарные пресновчане».

Дедушка Арефий умолкнул. Замкнулся. Ушел в себя. И теперь, как было видно, надолго. Но вдруг, спохватившись, подстегнутый какой-то внезапно павшей на память заботой, вскочил и засеменял со стариковской суетливостью в церковь, оставив меня в одиночестве.

Вечерело.

Стайки легкокрылых, раскиданных ветром облаков проплывали над слегка позолотевшей от предзакатного солнца колокольней. Острее запахло под вечер густым, сладковатым ароматом цветущей акации, черемухи и сирени. Шустрые стрижи и атласногрудые ласточки, охотясь за мошкаррой, бороздили — и вкривь и вкось — сухоросный вечерний воздух стремительными стрельчатыми полетами.

В заросших дремучими травами земляных валах былой крепости поверочно перекликались перепела и капризно ржал жеребенок с позвякивающим ямщицким колокольчиком на шее. Уже завела в заозерной дали печальную свою песню глухо загукавшая выпь. Где-то за станицей бойко разговаривала, складно постукивая железными втулками, катившая по степной дороге пароконная бричка. И было слышно, как блаженно и утомленно мычали в табунах, возвращающихся с дневных пастбищ, почуявшие близость своих дворов коровы.

День меркнул.

А я продолжал сидеть в одиночестве на ветхой скамейке пустынной и тихой церковной ограды, не спуская глаз с Главного колокола, который хорошо был виден отсюда в сквозном, широком арочном проеме колокольни.

Теперь я смотрел на колокол, как на тяжкий венец трагедии столетней давности, свидетелем, а может быть, и причиной которой он был. И мне казалось, что и по сей день он все бережно сохранил в недремлющей своей стойкой памяти — все, что было связано с трагедийной судьбой атамана и несчастной его дочери. Оттого-то, наверное, и выглядел он в возбужденных

глазах моих в этот кроткий вечерний час таким угрюмым и отрешенным, погруженным в затяжную — навек — горькую думу о канувших в бездну тех временах...

Я смотрел — снизу вверх — на Главный колокол так, словно ждал от него ответа на немые мои вопросы. Но безмолвствовал, опутанный тугим пеньковым канатом, безгрешный его язык!

Трава в чистом поле

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы,
Из той избы
счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.
Мы все, почти что поголовно
Оттуда люди, от земли.
И дальше деда родословной
Не знаем...

А. Твардовский

Бытовало в пору моего детства в наших краях такое емкое слово — бороноволок. Порождено оно было глаголом — боронить, волочить борону. Едва достигал парнишка семи годов от роду, его уже почитали в семье за работника, а нередко при особой нужде, бывало, отдавали даже на круглое лето в чужие люди — по найму.

Да это и был работник. С первых же дней ранней весны до глубокой осени бороноволок не слезил с лошади, волочившей то в дни сева по свежей пахоте борону, то копны душистого, как сотовый мед, сена, подтягиваемого к стогам и скирдам тоже волоком; то запряженной в плуг, сенокосилку иль жатку, в придачу к паре коренных лошадей, третьей конной силой — на выносе, или, как говаривали у нас, — на уносе, которой правил оседлавший ее бороноволок.

— Вот и мы, дал бог, дождались своего бороноволока! — сказала однажды про меня мама, и я был счастлив услышать от нее такие слова, приняв их за великую похвалу моему возрасту.

Неповторимым, запечатлевшимся на всю жизнь радостным праздником был для меня день моего первого выезда на пашню.

Очень волновали меня хлопотливые сборы старших в семье, готовившихся к откочевке в степь — на целое лето. Еще в канун выезда, загодя, все деревянные оси и колесные втулки трех наших древних телег были обильно смазаны ароматным, пахнущим подпаленным берестом вязким дегтем, а легкие дрожки на железном ходу — особой колесной мазью.

Телеги были загружены крапивными мешками с отсортированной на грохале — громадном ручном решете — семенной пшеницей, ячменем, горохом, овсом. На них же погрузили и все прочее пашенное имущество. Вальки от борон. Заступы. Железные лопаты. Конскую упряжь, пропитанную ворванью. Бороны. И однолемешный железный рандрупповский плуг, совсем недавно сменивший в нашем хозяйстве вековую деревянную прадедовскую соху.

На дрожки вместо снятого с них низкобортного ракитового коробка была водружена плоскодонная, густо просмоленная лодка, плотно набитая сетями, вентерями, садками и всяческой иной рыбацкой снастью, смастеренной за зиму неспешными отцовскими руками.

Весь этот памятный вечер окрыленно суетился и я — помогал, как мог, старшим загружать телеги и лодку нехитрыми хозяйственными пожитками. Тут все годилось. Вилы и топоры. Заступы и лопаты. Старенькие, потертые кошмы и заваливавшаяся за долгую зиму на полатах выдавшая виды рабочая одежонка. Черные от многослойной — едва ли не вековой — копоти прадедовские чугунные котелки и чайники. Берестяные туески и щербатые — тоже потемневшие от времени — деревянные ложки. То были семейные, фамильные наши вещи, годами хранимые впрок только для полевой жизни — для дальней дороги, для пашни, для степи.

Выезжали природные пресновские хлеборобы на свои ближние или дальние пашни не сговариваясь, в один и тот же день — чаще всего после пасхальных праздников, на фоминой неделе, и этот массовый, как теперь сказали бы, выезд и в самом деле походил на некий обрядовый народный праздник.

Суетно, весело, шумно — как на ярмарке — было в такую пору в станице. С пронзительной, торжествующей яростью ржали почуявшие степную волю кони. Радостно повизгивали, крутясь под ногами хозяев, спущенные с цепных привязей кобели. Перекликались, лихо пересвистываясь промеж собою, молодецкато гарцевавшие в походных казачьих седлах иные бороноволоки.

Вот дожил и я до этого столь долгожданного, желанного весеннего утра! Мы ехали с отцом шагком впереди нашего небольшого обоза. Молодая темно-гнедая кобыла, запряженная в ходок с водруженной на его шаткие дрожки лодкой, упруго перебирая ладно выточенными щегольски-сухожилковыми ногами, то и дело воротя назад морду, косила жаркий карий свой глаз на часто приотстававшего от нас ее первенца — златошерстного пугливого, трепетного жеребенка — и все время подзывала его к себе ласковым, сдержанным ржаньем.

Чубарый наш волкодав Терзай, разогнав по подворотням всех встречных станичных собак, трусил теперь — самодовольный и независимый — целиной, поодаль от дороги, с ходу принохиваясь к сурчиным норам и изредка поглядывая на меня как всегда добрыми, насмешливыми глазами.

Нераннее апрельское утро было безветренным, не по-вешнему жарким. Над прогретыми солнцем гребнями увалов струился легкий дымок испарений, а местами — в междуувальных впадинах и в окрестных березовых перелесках — еще блистали перевозданной белизною уцелевшие снежные островки.

Вдали над настезь распахнутым степным простором мерцали, дрожа и переливаясь, словно сотканые из парчовых нитей и унизанные искрометным, сеянным сквозь частое сито жемчугом, беглые марева. И было похоже, что полупризрачные, неуловимые — как мимолетные видения, как миражи, — они, стремительно струясь над степью, трепетали от ликующего, щемящего душу

трезвона жаворонков, повиснувших полужимыми серебряными колокольчиками в безмятежно-ясном безоблачном небе.

Я сидел в лодке за широкой спиной отца, с притворной строгостью приструнивавшего плетеными ременными вожжами кобылу, когда она, ворота из-под дуги морду, принималась ласковым, кротким ржаньем звать к себе приотставшего от нас жеребенка.

Припекало.

Пахло разомлевшей парной землей. Вязким дегтем — от наших телег. Прогретой солнцепеком смолой — от лодки. Лошадиным потом. Ременной сбруей. Сухой прошлогодней полынккой. Но милее всего был запах испеченных на поду пшеничных булок и калачей, не успевших еще остыть после жаркой нашей русской печки. Крапивный мешок, наполненный ими, лежал рядом со мною — в лодке, и хлеб в нем пахнул — домом, теплой маминой щекой, сухими, горячими ее руками. Временами мне казалось, что я не ехал — плыл в Подхваченной световыми потоками лодке, и блаженная, сладостная дремота все больше и больше одолевала, сковывала меня. Иногда мне мерещилось, что окрестные березовые перелески, подернутые парчовой кисеей мерцающих марев, бежали прочь — в глубинные целинные степи.

И вконец истомленный тревожным сиянием и блеском этого жаркого, близкого к полдню весеннего утра, убаюканный трельевым завораживающим трезвоном, я, прижавшись щекой к мешку с теплым пахучим хлебом, незаметно слился всем своим существом с этим новым для меня, радостным миром звуков, красок и запахов, растворился в нем, потонул — заснул.

Проснулся я на месте — на пашне, когда выпряженные, спутанные волосяными путами наши лошади были уже пущены на вольный подножный корм, и старшие мри братья с веселой расторопностью разгружали телеги от всяческой хозяйственной снасти и утвари.

Разбудил меня Терзай. Опершись передними тигриными лапами о борт лодки, он принялся было судорожно обнюхивать лежавший в моем изголовье мешок с теплым хлебом, попутно ткнув меня ледяным носом в прогретую солнцепеком щеку. Но, вспугнутый незлобивым окриком отца, пес отпрянул наземь, так тряхнув нестойкую на жиденьких дрожках лодку, что я, очнувшись, едва не вылетел из нее.

У меня екнуло сердце от радости, когда я, открыв глаза, узнал нашу пашню, уже хорошо знакомую мне по прошлогоднему лету, беззаботно проведенному здесь в бесконтрольно вольных моих забавах и играх. Тут ничего не изменилось с той золотой отрадной моей поры. Здесь всё было по-прежнему родимым, нашим, моим.

Моим был чудесный, немножко даже таинственный, необыкновенно какой-то ладный, уютный, крытый дерном балаган, похожий на степную аульную юрту. Моим было милое сердцу озеро Питерово, в зеркальном блеске которого отражались березы прибрежной дубровки и прилудные облака. Моими были попарно плавающие по раздольному озерному плесу белые лебеди — независимые, вольнолюбивые, гордые. Моим был здесь каждый стебелек голубой мелколистной полынки. Моей была малоторная, сбивчивая

проселочная дорожка, убегавшая с пашни к дому. Моими были и дремучие прибрежные камыши с их печальным, задумчиво-настороженным шорохом в поздние вечерние часы...

Прошлогодним летом был я на пашне гостем. Баловнем—на поглядку старшим. Весной мы с Терзаем пропадали целыми днями или на берегах Питерова, или в соседствующей с нашей пашней целинной степи. Я месил босыми ногами в цыпках сухой песок на прибрежных отмелях в поисках куличьих и пигаличьих гнезд с голубовато-рябыми яичками. Терзай, дерзко шныряя по камышам по брюхо в воде, поднимал переполох среди скопища гнездившихся в них гагар и уток.

Шляясь в целинной степи, я тоже надеялся напасть на потайные — в кустах таволожника и сухих ковылеи — перепелиные гнезда, а осатаневший от охотничьей ярости Терзай метался из стороны в сторону, как угорелый, в поисках полевых мышей и неуловимых, мгновенно исчезающих в норах сусликов.

Летом — в пору грибных дождей и созревающих степных и лесных ягод — мы с Терзаем опять же с утра до вечера паслись в нашем фамильном колке. Он так и назывался у пресновчан — Шуховский колок и славился изобилием дикой вишни, шиповника, груздей, костяники — любимой моей ягоды, по вкусу и цвету похожей, должно быть, на северную морошку...

Таким праздным, красочным, ярким было для меня—гостя нашей пашни — неповторимое, похожее на затяжное светлое сновидение прошлогоднее лето. Иной — нынешняя весна. Иным был уже и я на пашне. Это мне понятным стало сразу. В первый же день моей новой полевой жизни. Отныне был я тут уже не гостем— тружеником. Бороноволокном. Пахарем. Сеятелем. Работником!

Не успел я еще толком обыгаться от разморившей меня в лодке дремоты, как тотчас же получил первое трудовое поручение от старшего из братьев — Ивана.

— А ну-ка, Ивашка— серы ушки, марш в колодец за свежей водичкой — пора и чай греть! — подал полушутливую команду Иван, протягивая мне жестяной бакырок.

Приняв бакырок, я с радостной готовностью ринулся сломя голову вприпрыжку к знакомому мне по прошлогоднему лету колодцу, точнее — довольно глубоковатой яме, наклонно вырытой в крутом приозерном яру. Осторожно спустившись по земляным приступкам на дно этого сумрачного, густо заросшего камышом и чаканом колодца, я окунул бакырок в студеную, почти ледяную воду и долго прислушивался потом к таинственному, певучему журчанию незримого ручейка, упруго пульсирующего где-то там — в глубинных подземных недрах...

Я уже знал, что это бил родник, питая колодец холодной — до ломоты в зубах — первозданно-светлой и чистой как слеза ключевой водой.

В самые знойные дни прошлогоднего лета я частенько спасался в этом колодце от немилосердной, изнуряющей нас с Терзаем жары. Здесь было прохладно в пору полуденного солнцепека и, наоборот,— удивительно тепло, домовито, уютно — в непогожие, хмурые ветреные Дни.

Только тут — нигде кроме — росли диковинные, пышные, влажные, прохладные цветы — водяные лилии. Вьюнами обвиваясь вокруг упругих стеблей пятиаршинного тростника, взмывшего ввысь со дна колодца, они напоминали своими нежными, ослепительно белыми лепестками больших легковерных бабочек, неподвижно присмиривших на мечеобразных камышных листьях. Не один раз пытался я, сорвав здесь один из этих роскошных, пропитанных особым запахом цветов, унести его с собою. Но как только я поднимался с этим дивным, хрупким созданием в руках из колодца наружу, — цветок в мгновение ока, свернув лепестки, увядал — умирал на моих глазах. Это всегда меня очень печалило, и сердце мое сжималось в такие минуты от скорби по этому, бездумно загубленному мною только что радостно блиставшему своей непорочной прелестью живому существу...

Примостившись на предпоследней земляной приступке, я отсиживался в знойную пору в этом колодце, наслаждаясь прохладой и вкрадчивым ароматом его удивительных, пахнущих снегом пышных и влажных цветов.

Но особенно завораживало меня в такие минуты полудрежное, робкое лепетанье подспудного, бьющего из темных земных глубин родничка, то напоминавшее мне вечернюю перепелиную переключку, то — отдаленный рассеянный сумный шелест шлейных бубенчиков пролетной ямщицкой тройки...

Так было тогда — прошлогодним летом.

Но отныне, когда я был занят делом, замешкиваться здесь особо долго не приходилось. И я, на рысях доставив к нашему полевому табору бакырок ключевой воды, был похвален Иваном за расторопность.

Впрочем, хвалили меня в этот первый мой пашенный день все наши старшие — дружно и не один раз. Потому что после полуденного чаепития до позднего вечернего ужина я не засиделся без дела. То крутил, сбочив голову, с веселым отчаянием ручное точило, на котором оттачивал отец убойный кондратовский нож, с каким хаживал он поздней осенью на промысловые бойни. То, как бы играючи небольшим, вроде полушутейным топориком, рубил им с лихой резвостью сухой, хрупкий валежник — дрова для костра. То помогал отцу распутывать и развешивать на шестах слежавшиеся за зиму сети. То вместе с Иваном чистил картошку и репчатый лук — для вечерней похлебки.

Словом, работал, подогреваемый похвалами, радостно, расторопно — на совесть. Оттого-то, наверное, и показалась мне за ужином — венцом трудового дня такой неслыханно аппетитной картофельная похлебка, и на редкость душистым был шалфейный чай с молоком, да еще с пшеничными калачами в придачу!

Вдосталь насытившись вместе со старшими из чугунного котелка полевым ужином, я, едва добравшись до соломенной постели в слабо озаренном догоравшим костром балагане, мгновенно заснул, утомленный дневной суетой, повзрослевший, счастливый.

Мне приснилась на новом месте пустынная степная дорога, по которой уходил я — в круглом одиночестве — куда-то туда — в бесконечную, повитую

дымкой тревожную даль. Сердце мое разрывалось от тоски по покинутому родному дому. Но покорный какому-то глухому, властному, почти даже грозному зову, я, ускоряя шаги, рвался всем своим существом навстречу неизведанному, полному тайных соблазнов простору.

Как бы стремясь уйти от настигавшей меня погони, я перешел со скорого шага на резвую рысь. Я мчался на всех парусах, легко, едва касаясь земли не чувшими ее босыми ногами. А потом как-то само собой, без особых усилий — взмыл ввысь и поплыл над степью.

Я летел, плавно взмахивая распростертыми руками, как упругими крыльями, паря по-орлиному над пепельно-дымчатым, подернутым легкой рябью ковыльным морем, и с восторгом взирал с высоты на сверкающие внизу зеркальные чаши озер, на пронизанные сквозным трепетным светом светлоствольные березовые рощи, дубравки и перелески. И великим покоем веяло от бескрайнего полевого простора, от высокого, безмятежно чистого неба, опрокинутого над степью.

Припекало.

А я парил и парил по круговой орлиной орбите, упиваясь своей невесомостью, в залитом голубым огнем поднебесье, и дух захватывало от неземной свободы и воли, от хмельного, сладко томившего душу счастья, от неизбывной радости бытия!..

Наутро мы начали пахоту.

Поднимали твердую залежь на выжженной накануне отцом полынной пустоши, и потому в однолемешный рандрупповский плуг запрягли тройку лошадей с оседланным для меня Игренькой на выносе, или, как говаривали еще у нас, — на уносе.

Из пяти наших рабочих лошадей Игренька был самым молодым доморощенным жеребенком — всего по четвертому году от роду. То был не ахти какой рослый, но плотно сбитый, ладно собранный, хорошо упитанный конь нехитрой, степной киргизской закваски. Всех дивил он своей редкостной, броской, веселой мастью. Был он весь с головы до ног золотым, жарко-рыжим, с белой как кипень мятежной гривой, с озорной, словно припорошенной выюжной заметью челкой на лбу и с упругим — трубой — таким же светлым, как лебяжье перо, хвостом.

Вот такую-то весьма редкую среди лошадиной породы масть и называли игреньевой.

С малых лет я души не чаял в Игреньке. Сперва — в жеребенке. Потом — в возмужалом коне. Я охотно делился с ним любимыми своими лакомствами. Замусоренными по карманам леденцами ландрин. Сахарными огрызками. Заварным — на яичном желтке — калачиком. И даже вяземскими пряниками, нередко перепадавшими в дар мне от ворочавшихся домой из дальних зимних извозов старших моих братьев.

Я любил Игреньку не меньше, чем грозного нашего волкодава, красавца Терзая. И оба они — и собака и конь — щедро платили мне за все это беспредельной взаимной привязанностью, трогательной покорностью,

невысказанной лаской, затаенной в их кротко мерцавших, то слегка насмешливых, то порою немного печальных глазах...

А между тем Терзай был псом на редкость свирепого нрава, крутым на расправу не только со всеми встречными и поперечными собаками,— он не праздновал труса даже и перед целой стаей осатанелых волков. Неспроста же отец мой в ту пору, когда Терзай был еще безыменным полугодовалым щенком, отважился выменять его у одного из своих аульных дружков — тамыров на суягную нашу овечку и позднее не переставал гордиться при случае столь ухарским своим поступком!

Игренька же — по крутому его характеру, по пылкому норову, по дерзким манерам — был под стать или, точнее сказать, сродни Терзаю. Меня же он подкупал не только неожиданной своей живописной мастью, но и бросавшим подчас в оторопь неслыханным своенравием, вздорностью, озорством, взбалмошными причудами и каким-то особо лошадиным вольнодумством, что ли...

Вопреки опасениям отца, Игреньку, когда пришла его пора, без особых усилий приучили к уздечке, к седлу, к запряжке. Он сам с видимой охотой клонил голову перед поднесенным к морде хомутом и, послушно пятясь, становился в оглобли. Словом, вел он себя точно так же, как вели себя в таких случаях все прочие наши лошади постарше его годами. Было похоже, что ему нравилось стать вдруг взрослым рабочим конем, и он, прилежно подражая во всем старшим своим собратьям, вел себя на первых порах смиренней и кротче овечки.

Но это — на первых порах.

А потом, доселе покорного и кроткого, как ангел небесный, Игреньку вдруг как бы разом подменили, и он зачастил выбрасывать коленца — одно мудренее другого. Теперь он чаще всего выглядел не белым кротким ангелом— серафимом, а нечистой силой с дьявольским коварством и сатанинскими выходками.

Эта новая сторона изменчивого Игренькиного характера— на диво всем нам, выражалась по-разному. То он в запряжке, строптиво переступив задней ногой оглоблю, замирал, как при столбняке, и никакими силами немислимо было — ни уговорами, ни угрозой — сдвинуть его с места, и в таких случаях помогало только одно средство — перезапряжка.

Затем этот бес, запряженный в легковой ходок иль в телёгу-тюменку, взял моду вдруг сбивать — ни с того ни с сего — вихревую свою рысь на медлительный, притворно утомленный шаг и наконец останавливался как вкопанный посреди пути-дороги в самом неподходящем для этого месте. То в расквашенной вешними водами или летними ливнями солончаковой ложбине. То перед крутым увальным подъемом. А то и того похуже — на глазах у добрых людей — прямо посредине любой да хорошей улицы!

Здесь тоже не помогали ни ласковые понуканья, ни ременный кнут, ни матерки, ни воровинные вожжи. А чтобы стронуть зауросившего жеребчика с облюбованного им местечка, надо было — хошь там не хошь — спешиться с телеги, взять его под уздцы и провести, вполголоса матюкаясь, полверсты за

собою следом. А уж потом можно было снова спокойно усаживаться в телегу, и Игренька, мигом встрепенувшись, подобно испуганной с гнезда куропатке, вновь летел, закусив удила,— пуля пулей!

Немало хлебнули горя с Игренькой старшие мои братья, когда накатывало на него в иную пору особо буйное неповиновение. Пущенный вместе с другими нашими лошадьми спутанным на ночной степной выпас, он приходил иногда поутру в ярость, завидев связку уздечек и недоузтков в руках любого из моих братьев. Злобно прижав плотно к темю до сего добродушно торчавшие над белесой челкой мечеобразные черно-бархатистые уши, Игренька настороженно косился на непрошеного пришельца с уздечками жарким от ярости, аспидно-черным глазом.

Ни с какой стороны не было в такую пору подступу к этому ошалевшему от своеволия писаному красавцу. Высоко задрав морду, он стоял на широко расставленных упругих, пружинистых ногах с розовыми копытами — никому не покорный, независимый, неприступный. Молодой, гладкоспинный, упитанный,— был он словно слит из чистого золота. А белоснежная грива его на тугой, дугоподобной шее и такой же светлый, трепетный, похожий на поднятый парус хвост придавали ему в такие минуты сходство с готовой к взлету жар-птицей!

Поймать такого, вдруг как бы впадавшего в буйное одичание коня теперь можно было разве только кочевническим соилом — волосяным арканом на длинном гибком шесте, да и то далеко не каждому вершному, а лишь особо ловкому, понаторевшему в таких делах степному табунщику — хваткому и верткому, как черт, джигиту.

Но вот однажды — дело было на нарядной троице — ранним погожим утром увязался я за старшим из братьев Иваном, отправившимся со связкой уздечек в степь за нашими лошадьми, пущенными накануне на ночной выпас.

Мы вскорости нашли их в версте от станицы, вблизи небольшого березового перелеска — Горькой дубровки, когда-то и кем-то названного так в честь соседствующего с ним горько-соленого озерца, впрочем, не замерзавшего даже в самые лютые, по-сибирски крутые морозы.

Все наши кони, вдоволь насытившись за ночь сочной травой, окропленной обильной июньской росой, мирно полеживали среди пряного разнотравья, щедро принаряженного кроткими полевыми цветами.

Все кони.

Кроме одного — Игреньки!

И у меня екнуло сердце. Замерла душа. Онемели дрогнувшие босые ноги. Мелькнуло: вот и случилось то самое, чего я, да и только ли один я в немалой нашей семье, страшился больше всего на свете.

Гром грянул.

Зарницы померкли.

Вот и украли-таки у нас минувшей ночью злые люди Игреньку! Увели, угнали карьером пугливого веселой масти коня в глухие глубинные степи

шибко шалившие в тот памятный год в наших краях неуловимые, кочующие барымтачи или же приبلудные, отпетые цыганские конокрады.

Мельком взглянув на оторопело опешившего в это мгновение старшего брата, я понял, что и он похолодел от такой же мелькнувшей в его голове догадки — так вдруг потемнело мигом изменившееся, искаженное вспышкой внезапного горя и гнева остроскулое его лицо.

Оглушенные такой новой бедой, обрушившейся на нашу семью, мы какое-то время неподвижно стояли рядом. Два Ивана — самый старший и самый малый. И в эти минуты ледяного душевного оцепенения никто из нас — ни он, ни я — не проронил ни слова.

Все вдруг в этом божьем мире потускнело, поблекло, обрело иную, безрадостную окраску в сухих от горя глазах моих — без него, без Игреньки. И с тупым безразличием, почти враждебно смотрел я теперь на то, что еще минутой тому назад покоряло тут меня на каждом шагу новизной, неожиданностью, пленительным ароматом холодного от росы буйного разнотравья и тонким, чуть внятным, печальным запахом укромно притаившихся в траве незабудок.

Я не видел уже, не замечал сейчас многого. Высокого, позолотевшего от жаркого восхода неба над головой с перистыми — к погожему дню — мерцающими облаками. Матового серебра ковылей, прикрывших невесомой парчовой накидкой вековую, не тронутую лемехом целинную землю. Табунка веселых журавлей, смешно и трогательно расплясавшихся вокруг своих выводков на недалеком пригорке. Моложавой прыткой березки, за полверсты убежавшей от хоровода своих дружных подружек на высоком приозерном яру и пригорюнившейся на отшибе в круглом одиночестве...

Нечто вроде упругой, туго выпрямлявшейся внутри меня пружины неотвратимо поднималось во мне, подступало, подкатывало к горлу, и я в состоянии, близком к удушью, чувствовал, что больше уже не выдержу — вот-вот зареву!

Вот тут-то внезапный, ликующий вопль старшего брата едва не свалил меня с ног.

— Эге-гее! Братуха! — заорал Иван не своим — бабьим — голосом. — Ты гляди-ка сюды. Гляди! Ведь это же он, язва! Летит, как Егорий Победоносец! Опять в прах изорвал, варнак, новехонький воровинный треног! Вот стервец! Вот сукин сын! Вот вражина!

Я обмер.

И только тут, как бы придя в себя, увидел я Игреньку, Высоко задрав морду, рассекая широкой грудью волны утреннего света, мчался он во весь мах с далекого пологого увала в нашу сторону. Издали даже казалось, что не скакал, а летел над присеребрёнными росой искрящимися ковылями, не касаясь степи своими розовыми копытами. Как добела раскаленное ветром пламя, бушевала над ним его атласная грива, а упругий — вытянутый трубой — хвост стлался за ним, как шлейф, сотканный из светло-шелковистых нитей.

Что уж тут говорить про нас с Иваном, если даже все наши кони, завидев Игреньку, пришли в волнение. Все они тоже были явно обрадованы, потрясены

неожиданным его возвращением и, мигом повскакав со своих лежбищ, сдержанно заржали, возбужденно заперебирали стреноженными ногами, приветливо запряли ушами.

Иван, не сводя с летящего к нам Игреньки по-ястребиному зорких, горящих от радости глаз, тоже, как и наши кони, суетливо топтался на месте, переступая с ноги на ногу. Почти приплясывал. Глухо сопел. Отмалчивался.

Я же — запросто приплясывал, прыгал, похлопывая в ладошки. Вел себя, как те смешные веселые журавли на недалежном пригорке, продолжавшие малоуклюжую пляску вокруг своих едва оперившихся выводков.

Между тем Игренька с запальчивого карьера незаметно перешел на дробную тропотиную рысь, постепенно замедляя и замедляя ее при приближении к нам, и, наконец резко притормозив передними ногами и слегка осев на задние, остановился шагах в двадцати от нас.

И тут мы оба, заметив на тугой, дугообразной шее Игреньки петлю с обрывком волосяного аркана, похолодели от новой догадки.

Было ясно, что малопокорный, строптивый наш конь, умудрившись порвать на полном карьере пленивший его аркан барымтачей, лихо ушел от степных похитителей восвояси!

— Орел!..— чуть слышно, с глубоким вздохом молвил Иван, не сводя глаз с Игреньки.

Игренька был в мыле. Еле приметная, слабая дрожь пульсировала в его широко расставленных, тонко выточенных ногах. И пот, как жемчуг, просеянный сквозь частое сито, горел на его золотом бедре»

— За им, видать, гнались погоней барымтачи?— робко спросил я Ивана.

Ну. Как пить дать. Да сам черт верхом на вьюге. У нас его не догонит!— не сказал, с восторгом воскликнул брат.

— А ты, братка, дай мне уздечку,— еще кротче попросил я.

— Это ишо на што?

— Я пойду его зануздаю.

— Да ты што — угорел?! Видишь, как он уши зажал? Озверел. К нему сейчас ни с какой стороны никому из нас приступу нету! Понял али — тупо?!— спросил грозно меня Иван.

— А я попробую...

— Не дури. Ишо зашибет. Будет мне потом за тебя, последыш, от отца с матерью на пряники!— категорично сказал Иван.

— Не зашибет. Мы с им обоюдны!— убежденно заверил я брата.

Иван опешил.

— Как это — обоюдны?!

— А так. Понятье у нас с им одно потому што... Давай мне уздечку!— сказал я почти повелительным тоном.

Тут, немного замявшись, Иван, хоть и нехотя, но все же распутал связку уздечек и одну из них — выездную, с блистающим звездным набором — протянул мне.

— Ну, ладно. Аида. Попробуй подступись к ему, кабарге, ежели уж ты такой храбрый!.. Погляжу я на вас, красавцев, каки вы там у нас обоюдны!

Заметив нашу возню с уздечками, Игренька, встрепенувшись, как готовая к взлету птица, весь напряжился и, казалось, еще плотнее прижал к темени черные как смоль, озлобленно подрагивающие уши.

— Крой ва-банк!— слегка подтолкнув меня в плечо, сказал в напутствие мне Иван.— Только рта шибко не разевай. Гляди в оба!

— Ладно, братка...— пробормотал я и, забросив за спину нарядную уздечку, бодро засеменял ногами к насторожившемуся Игреньке.

Не говоря уже про Ивана, но и все наши кони, казалось мне, с тревожным изумлением следили сейчас за каждым моим движением, немало дивясь отчаянной моей храбрости.

И вдруг Игренька, завидев меня, бежавшего к нему вприпрыжку, сомкнул, как по строевой команде, вразброс расставленные ноги и вмиг выпрямил над льняной челкой аспидно-черные, острогранные мечевые уши.

Уж кто там кто, а я-то знал цену этому доброму знаку смирения и душевного расположения ко мне и, окрыленный этим, я уже без всякой душевной опаски подбежал к взмыленному, горячо дышащему коню.

Благо, в кармашке моих латаных-перелатаных мамой миткалевых штанишек погодился припасенный для проку сахарный огрызок, и я с радостной готовностью тотчас же — с ходу — поделился своим гостинцем с Игренькой.

Нежно пощекотав мою развернутую ладошку теплыми бархатными губами, конь благодарно принял нехитрое мое потчевание и доверительно склонил затем пониже голову для того, чтобы мне — малорослому поскребышу было сподручнее надеть на него праздничную уздечку.

Затем, взнуздав его без особых усилий,— Игренька, заглатывая стальные удила, добровольно полураскрыв рот, разжал плотно посаженные миндалевидные зубы,— я подвел его под уздцы к старому пню, торчавшему на отшибе от Горькой дубровки. А потом уже с этого покрытого трутневыми наростами пня, уцепившись левой рукой за светлоструйчатую гриву, вскарабкался-таки на плоскую — печь печкой — Игренькину спину.

Вот тут-то вдруг я и почувал себя не верхом на любимом картинном коне — на седьмом небе!

Необычное, близкое к ликованию возбуждение царило в нашей семье весь этот памятный мне и поныне первый день нарядной, красочной троицы. Все у нас были безмерно рады возвращению — будто с того света!— взбалмошного Игреньки, чудом вырвавшегося из цепких рук лихих конокрадов, и глядели теперь на него, как на вторично рожденного,— теплыми, посветлевшими от великого счастья глазами.

Был я в этот день зацелован, заласкан, запотчеван мамой. Захвален отцом. Затормошен веселыми, похорошевшими от праздничных нарядов и без того красивыми в моих глазах юными сестрами — Дашей и Паней. Задарен с ног до головы всяческими щедрыми посулами подобревших от украдкой выпитого — по случаю редкого праздничка — шкалика водки старших братьев.

Я ходил в именинниках.

И все из-за Игреньки. Из-за его, столь поразившей всех наших, небывало-смирненной покорности и трогательного, по-детски кроткого повиновения, мне недоростку!

Я был счастлив. От многого. От покорного мне Игреньки. От ласковых слов мамы. От похвал отца. От баловавшихся со мною сестер. От расточительных посулов полузахмелевших братьев. От новенькой моей — поднебесного цвета — ситцевой рубашонки, сшитой руками Даши. От ярких, как ярмарочные карусели, девичьих хороводов среди улицы. От венков, свитых из полевых цветов, украшавших головы незамужних станичных красавиц. От того, как потом наш Иван, сидя на завалинке, играл на своей саратовской гармонике с колокольчиками «Златые горы», а Дмитрий, сидевший с ним рядом, угрожающе, с вызовом пел; «Тогда бежать я с им решила, поверив клятве роковой. На божий храм перекрестилась, с слезой взглянув на дом родной!»...

Но вдвойне, втройне был я счастлив ближе к вечеру, когда собрались в нашем доме немногочисленные гости. Родня. Старики. Дядя Егор — извечный сторож начальной станичной школы, старший брат моего отца. Младшая сестра его тетка Лукерья с дядей Петром — кумовья наши — Чернигины. Мать Троньки — Михайловна. Бабушка Платониха, дедушка Арефий. Кузнец и церковный регент Лавра Тырин со своей рыхлой старухой Кристиной. Угощались по случаю троицы — на открытом дворе, за столом, вынесенным из дому. Сперва застольничали при золотистом вечернем свете. Потом — при сумном сиянии остророгого, слитого из червонного золота новорожденного месяца. Потому что вздуть огня в такую пору года — ни в дometни во дворе — было уже не положено. Огонь в летнее время в избе — к головне в посеянном хлебе!

Мама потчевала гостей всякой всячиной. Сдобной своей стряпнёю — бязбичками. Обливными и творожными шанежками. Кремовым ворохом ароматного, хрупкого хвороста. Всякой там жареной и вареной снedyю. Отец выставил на стол заветную бутылку казенной водочки, загодя впрок припрятанную им от пронырливых, как дьяволы, старших сынов в надежном месте.

Старики захмелели с первой же рюмки. Да и бабушки вскоре заметно повеселели, помолодели, сдобрив сухонькие, вялые губы заколдованной маминой бражкой, второпях сотворенной ею — междуделок — к редкому празднику.

Вечер меркнул.

Взмыл, поплыл над станицей молодой, чудный месяц. Он торчал на рогу — к вёдру.

С побережья огромного пристаничного озера Питного отлетала в вечернюю степь проголосная, грустная девичья песня.

Над серебряной волной,
На златом песочке,
Часто девы молодой

Я искал следочки!

Там девчата, выпытывая судьбу, бросали в темную стоячую воду перевитые незабудками венки, гадая о своих суженых...

Между тем за праздничным нашим застольем становилось теперь с каждой новой минутой все шумнее, все оживленнее.

Гости разговорились. Говорили громко, наперебой, и было непонятно — кто кого слушал.

Золотые шмели хмеля разбушевались в дедовских головах, и старики вдруг ударились в безудержное хвастовство друг перед другом.

Отец хвастал — мной и Игренькой. Дядя Егор — личным участием в последнем походе Пржевальского. Дядя Петро — единственной в их дворе горбатой кобылой иноходкой, у которой будто в каждой ноздре по два продуха — потому-то на диво и зависть многим она резва, как ведьма на помеле, вынослива, неутомима! Дедушка Арефий — былыми воинскими доблестями, проявленными им в далекой молодости, Лавра Тырин — дарованным ему богом мастерством в кузнечном и регентском деле!

Бабушек же — под легким хмельком — повело, напротив, совсем в другую сторону. Рассудачившись — слово за слово, — принялись они честить на чем свет иных, отчего-либо невзлюбившихся им или родственниц или одностаничниц. Перебирали, перемывали косточки тех, кто только падал им теперь на взбудораженный, засумбуренный бражкой ум. Своих снох. Золовушек. Падчериц. Кум. Троюродных сестричек.

Попутно перепало тут на пряники с орехами от ожесточившихся сердцем старух и некоторым прочим станичным сударкам. Надменной кикиморе — барыне — губки бантиком! — Софочке Минькиной. Тучной, малоопрятной скупердяйке — матушке попадье. Разбойной матерщиннице — Марье Корнеевне, связанной одной шайкой-лейкой с конокрадами. Отпетой шинкарке — Тане Жичихе, тайно принимавшей от холостых ребят в обмен на водку пшеницу, похищенную из отцовских сусеков. Впавшей в непотребное распутство купчихе — Анфисе Немировой, открыто схлестнувшейся на глазах у малозрячего, невзрачного муженька со своим годившимся ей, сучке, в сыновья приказчиком!..

Шуму было много.

Бабушки за словом в карман не лезли!

Иные из дедов, хвативших чуть лишку, совсем уж было полураспоясались. Стали помаленьку — вполголоса — материться. Но на таких тут же строго прицыкивал разом мрачневший при этом отец. Смолоду не переносил он матерной брани, никогда не оскверняя ею своих уст даже в припадке самого жгучего гнева, близкого к затемнявшей разум ярости. И гостевавшие за нашим столом старики, зная об этой его нетерпимости, уловив на себе презрительный взгляд хозяина дома, суетно прикрывая ладонями рты, тотчас же умолкали.

Старухи тараторили бойко. С ехидцей. С ужимочками. Шиворот-навыворот. Впереверт. Каждое слово — вприкуску!

И только одному тут теперь человеку — маме — было не до досужих бесед. Не до песен-басен. Не до разговоров. Расторопная, шустрая, как девчонка, она, потчужа захмелевших родичей и соседей, металась — метла метлой — от стола к дому, из дома к столу.

Подавая то одно, то другое угощение, она успевала урывками — на ходу — пригубить с непритворно веселым отчаяньем чарочку бражки, перекинуться с гостями мимолетной незлобивой шуткой, озорным словцом, складным присловьем. И было видно, что она задевала за душу стариков и старух, разомлевших, потешных, слегка закуражившихся от изобильного, затяжного застолья.

Задевала — многим.

Открытым доброжелательством. Радостной — на крыльях — готовностью послужить людям. Доверительной, не покидавшей ее полуспекшихся от хлопот, от волнений старческих губ — молодой, по-девичьи застенчивой, полувиноватой улыбкой...

Весь этот вечер я, примостившись в сторонке на старенькой, еле живой табуретке, изумленно поглядывал на веселых, шумливых наших гостей, рассеянно тренькая абы што на новехонькой моей трехструнной циммермановской балалайке.

Этим чудом — балалайкой одарил меня нежданно-негаданно отец, купив мне ее на Никольской станичной ярмарке, издревле нареченной так в честь годового праздника — зимнего Николы. А виной этому из ряда вон выходящему в семье нашей случаю была бабушка Платониха.

Долгими зимними вечерами, сиживая на печке, любил я изображать себя лихим музыкантом. И взяв в руки золотистую, до звона просушенную березовую лучинку, я — не хуже Пашки Денисова — самозабвенно тренькал на ней, как на воображаемой балалайке.

И не только тренькал. Но и певал при этом.

Наслушавшись в летнюю пору минькинских граммофонных пластинок, в точности запомнив слова и мотивы напевов знаменитых Санкт-Петербургских певиц, я распевал под трезвон бесструнной своей балалайки бесподобными голосами — или госпожи Вари Паниной, или — самой мадам Вяльцевой!

Смежив глаза, — тут я к тому же подражал еще и Пашке, — я пел игриво, высоким, готовым к обрыву, как до предела натянутая струна, голосом:

Гай-да, тройка!

Снег пушистый.

Ночь морозная кругом.

Светит месяц серебристый,

Мчится парочка вдвоем!

А то и того похлеще. Несколько переиначивая — Пашкина наука — на свой лад слова жестокого романса Вари Паниной, тут я пел уже по-иному. С надрывом. С душевным криком.

Ух, зачем ты меня целовала,

Жар безумный в грудях затая?

Ненаглядным меня обзывала

И клялася, что будешь моя!

Однажды в присутствии отца, мамы и заскочившей к нам на огонек — попотчеваться чайными выварками — бабушки Платоники спел я, тренькая на звонкой лучинке, печальную песню, заученную со слов старшей из сестер — Даши.

Пел я на этот раз, уже никому не подражая. От себя. Своим ненавязчивым, скорбным голосом.

Спишь ты, спишь, моя родная,

Спишь — в земле сырой!

Я пришел к тебе, родная,

С горем и с тоской.

С неба дождик льет осенний.

Холодом знобит.

У твоей немой могилы

Твой сынок стоит.

Я пришел к тебе, родная,

Штоб тебе сказать:

У меня теперь другая

Есть — чужая мать!

Я пел, и сердце мое сжималось в комок от непривычного, двоякого чувства. Мне до слез было жалко этого рано осиротевшего мальчика, мокнувшего в горьком одиночестве под косым осенним дождем возле сырой материнской могилы. И в то же самое время в душе моей все трепетало, светилось, пело от нахлынувшего на меня в эти минуты ощущения невыразимого счастья. И счастьем этим была для меня сейчас не сторонняя, не пришлая с ветру, не ч у ж а я, а одна она—родимая моя мать!

Она сидела в кути на лавке. За прялкой, нарядно расписанной ирбитскими мастерами. Расторопно теребя левой рукою седую куделю, правой она ловко, будто играючи, крутила радужно мерцавшие в сухих ее, гибких пальцах похожее на заводную юлу веретено с упруго подрагивающей, серебрящейся ниткой. Не переставая прясть, она с безмолвной душевной настороженностью вслушивалась в горестные слова печального моего напева, мельком поглядывая на меня, сидящего на печи, теплыми, кротко мерцающими ласковыми глазами...

Ух, тала-аан он у вас! Ух, тала-аан!— указуя на меня своим железным перстом, сказала бабушка Платониха почти угрожающе.

— Горюшко мое — не талан. Заботушка, моя —кровная!..- чуть слышно, со вздохом, молвила мама. И после вздоха еще тише - как бы уже про себя добавила:- Одному только богу известно, што написано ему на роду... А иным и таланам, бывает, ишо погори нас — бесталанных — на белом свете живется,— сказывают умные люди!..

—Нет? кум, послушайся ты меня!— требовательно взмолилась, теперь уже обратясь к отцу, бабушка Платониха, проворно прожевывая чайные выварки.— Побалуй на старости лет своего последыша. Не жмись. Раскошешься. Обгорюй-ка ему всамделишну балалаечку!

— А куды деваться?! Приспичит — и обгорюешь!..— вдруг отозвался отец с неожиданной изумленной живостью, только не поймешь как — всерьез или в шутку.

И вот — сбылось: обгоревал! Одарил он меня — пришел срок — этим золотисто-солнечным, певучим трехструнным чудом. С бронзовыми бороздками таинственно посверкивающих ладов на черном, как вороново крыло, балалаечном грифе. С трепетными, отзывчивыми серебристыми струнами. С ореолоподобным, красочным фирменным тавром фабриканта музыкальных инструментов Генриха Циммермана — на лицевой деке!

Первыми моими упражнениями на этом щедром родительском даре руководил — как умел — Иван. Он обучил меня настраивать балалайку и на мажорный и на минорный лад, а потом — и некоторым нехитрым наигрышам. Вроде «Барыни», «Казачка», «Подгорной», «Во саду ли, в огороде».

Ничего другого, кроме этих наигрышей, Иван и сам не умел отбрыкивать на трехструнной моей красавице. Это была ему не саратовская его гармошка с колокольчиками, на которой играл он — правду надо говорить — под стать знаменитым пресновским скрипачам — троим братьям Елгиным, лихо. С вывертами. По-ухарски. С вызовом!

Вот так — на азбучных наигрышах — Иван и закончил со мной нетрудную свою науку. Это было все. Перенимать мне у него больше было нечего. И тут волей-неволей пришлось выбиваться в сколько-нибудь приметные музыканты уже в одиночку. Самоуком. Без подсказки. Без опеки. Без натаскиванья.

Мне и теперь не совсем понятно, как это я, ребенок, вслепую перебирая хрупкими пальцами левой руки малоуловимые лады балалаечного грифа, вдруг иногда высекал правой кистью из дрогнувших струн божьи искры хоровых, неожиданно стройных, пленявших меня аккордов!

Я привязался к балалайке, полюбив ее так же горячо и самозабвенно, как любил Терзая или Игреньку. И балалайка, вроде как бы некоего одухотворенного, живого существа, чувствуя мою привязанность к ней, постепенно — день за днем — все доверительнее, все щедрее и щедрее раскрывала передо мной свою теплую, светлую и певучую душу...

Что и говорить, большим подспорьем в моих музыкальных навыках были, конечно, граммофонные пластинки чопорной четы Минькиных — Ванечки с Софочкой. Вдосталь наторчавшись в погожие летние вечера перед настезь распахнутым минькинским окошком с ревушей — чуть ли не на всю станицу — граммофонной трубой, понаслышался я там всякой всячины и что пришлось по сердцу — запомнил. Надолго. Навеки. На всю жизнь!..

Песенки Вари Паниной и мадам Вяльцевой меня мало трогали, и я относился к ним иронически, ежели не враждебно. А вот бравурные, или — наоборот — печальные звуки духовых военных оркестров, вырывавшиеся на волю из пламенно-оранжевого жерла граммофонной трубы, сводили с ума! Я умирал от маршей — «Прощанье славянки», «Тоска по родине». И от вальсов — «Березка», «Осенний сон», «Воспоминанье о Пржевальском», «На сопках Маньчжурии».

Несказанно тревожили, приводили в трепет, волновали меня и гортанные напевы цыган Соколовского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время — близким мне по духу — чем-то родным, нашенским. Седыми от ковылей степями. Мерцаньем далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого — невесть куда — перекасти-поля...

А от — то грозного и мрачного, то — от нежного, робкого, вкрадчивого воркованья, то — от приглушенно-сдержанного рыданья сонма цыганских гитар бросало меня и в жар и в холод, доводя порой до полного душевного оцепенения!

После, оставаясь наедине с самим собою, я трубил в сомкнутые рупором ладошки, подражая духовому оркестру, воскрешая в памяти мелодии маршей и вальсов, разбередивших мне душу.

Это помогло мне потом, когда я, освоившись с покорной балалайкой, стал мало-помалу подбирать на слух более сложные музыкальные сочинения, чем первые мои наигрыши.

И понаторев, набив вскорости руку, я уже довольно уверенно наигрывал на своей трехструнке и «Прощанье славянки», и «На сопках Маньчжурии», и даже фигурную «Польку с комплиментами»!

Песня была частой гостьей нашей семьи. Запросто, охотно дружили с нею все старшие мои братья. Не чурались ее на старости лет — за праздничным застольем с повеселевшими гостями — и мои родители. Но в особом ладу с нею жили сестры, певшие на клиросе в церковном хоре Лавра Тырина, — Даша и Паня.

Пели сестры обычно негромко, чаще всего — вполголоса. Пели в часы нечастых досугов. Пели — и за работой. За шитьем. За вышиваньем — гладью или крестом. За разными хлопотами по домашности.

Я заслушивался их «Вечерним звоном», который наводил и на меня, притихшего кроткой душой, много — безотчетно-тревожных, неясных — дум...

Меня волновала исповедальная искренность слов из другой их песни — скорбной и горькой, как курлыканье журавлей в темном ненастном осеннем небе:

Я у матушки выросла в холе.

Не видала кручинушки злой.

Да счастливой девической доле

Позавидовал недруг людской!

И темной тенью застилось мое сердце от приглушенного проголосного напева сестер о загубленной девичьей юности. Особенно задевали меня в этой песне слова, преисполненные обреченной покорности судьбе, выпавшей на долю обойденной счастьем, отрешенной от земных радостей девушки.

И солнце греть меня — не станет.

Роса меня — не освежит.

Заря меня — не нарумянит.

Глухая ночь не усыпит!

То были песни народные. Древние. Вековые. Они переходили изустно — из рода в род. Из поколения в поколение. Неподвластные ни забвению, ни тленью, ни запретам, они жили в душе народа, не утрачивая первородной, неувыдаемой прелести. И печален и дивен был нетленный их аромат, подобный иному старому вину, настоящему на непорочном, близком к бессмертию долголетию!..

Позже, как бы еще более душевно сблизившись, по-роднясь с покорной мне балалайкой, я все увереннее, все легче подбирал на слух — наитием — одну полюбившуюся мне мелодию за другой. А потом и обучился несложному аккомпанементу — вторе, сопровождая минорными аккордами проголосное, грудное пенье сестер.

Отец не мог нахвалиться, нахвастаться мною. Моей смекалистой музыкальной дошлостью, Моим неробким, догадливым овладением премудрыми балалаечными ладами на зыбком грифе. И лихой, вольной моей расправой над переливчато звенящими под моими пальцами, искрометными и пугливыми, как ямщицкие колокольчики, струнами!

Немало хвален был я за это мое самоукство и всеми другими нашими домочадцами.

И только одна мама, настороженно прислушиваясь чуткой своей душою к моей «Тоске по родине», к «Воспоминанью о Пржевальском» или же к минорным вторам моим, сопровождавшим печальные напевы сестер, отчего-то всегда вздыхала — глубоко, затаенно. Горестно покачивая при этом обнаженной головой, рано тронутой матовой сединою, она едва слышно — как бы думая вслух, говорила:

— Один только бог знает, куды тебя, малая моя птаха, этот самый талан заведет! И к добру ли все это таится в тебе али к худу?! Один бог!..

— Ладно тебе стонать-то, мать!..— сердито отмахивался от ее озабоченных слов отец, воспринимавший мою привязанность к балалайке, как видно, совсем по-другому.—Ладно тебе. Не убивайся... Он ведь у нас ото всех — на отличку. Из кисейных кистей выпал. В рубашке родился! В этот вечер — на троицу,— когда гостевали при месячном свете у нас на дворе наши родичи и соседи, был я в особом ударе. Подзуженный крикливыми, не в меру льстивыми — во хмелю — похвалами гостей, переиграл я тут на послушной своей певунье много из того, что знал.

Я даже сумел подобрать с ходу втору к любимой песне дяди Егора, когда они с отцом, положив друг другу на плечи свои тяжкие, вдосталь натруженные за жизнь руки запели — неожиданно молодыми, стройно, в лад зазвучавшими голосами:

Хазбулат удалой!
Бедна сакля твоя.
Золотою казной
Я осыплю тебя!
Стены в ней обобью
Я персидским ковром.

Дам лихого коня
С кабардинским седлом!

Меня давно волновала эта песня о бедном, старом Хазбулате и юной его жене — неземной красоты горянке, в обмен за которую предлагал старику сиятельный князь отдать все несметное свое богатство, даже — с золотым личным мечом в придачу!.. И я с окрыленной радостью вторил минорными аккордами старику, разделяя душой горе старого Хазбулата.

Но вдруг, дрогнув сердцем, я весь внутренне замер, на мгновение позабыв даже про умолкнувшую в моих руках балалайку. Это меня поразил, привел к минутному душевному онемению иной, светлый и трепетный, как утренний солнечный луч, голос, зазвучавший высокой, горестной нотой в плавном, неторопливом, чистом потоке хоровой стариковской песни.

Ты уж стар,

Ты уж сед.

Ей с тобой — не житье.

На заре юных лет

Ты спогубишь ее!—

пела, припав правым виском к облокоченной на стол руке сидевшая со своими гостями мама.

Она сидела у самовара ко мне спиной и казалась теперь еще меньше ростом. Еще более хрупкой. Остроплечей. По-девичьи незащищенной.

Я смотрел на нее сухими, горячими от изумления и нежности глазами. Не замечая в эти минуты никого другого из всех впритирку сидевших гостей в застолье — я видел сейчас только одну ее, как бы пребывавшую в круглом одиночестве...

Когда же песня умолкла, как умолкает, сложив трепетные крылья, иная степная певчая птица, с разлету падающая в ковыль,— я, точно очнувшись от короткого забытья, тотчас пришел в себя. И вновь ощутив в руках кротко притихшую балалайку, встрепенулся, ударив всей пятерней по дрогнувшим струнам.

И с особенным рвением, с лихостью — близкой к дерзости — отбрыкал я напоследок, сбочив — как Игренька в пристяжке — голову, коронную свою «Польку с комплиментами» и тут окончательно сразил, поверг в прах всех моих — полухмельных-полутрезвых — слушателей!

— Ух, тала-аан!..— опять почти угрожающе воскликнула бабушка Платониha, всплеснув в сухие ладошки.

— Ухарь!.. Граф Монте-Кристо!— веско пробасил дядя Егор — самый начитанный старик в станице.

— Не балалайщик — ероплан!— сказал свое слово, искусно прищелкивая большим и указательным пальцами, и дедушка Арефий.

Я не знал, что такое талан, кто такой граф Монте-Кристо или какой-то там еще — ероплан! И все же все эти загадочные, темные, полные для меня какого-то иного, подспудного смысла слова воспринимались мною за высшую похвалу в мою честь. Оттого-то так возбужденно и ерзал я на шаткой табуретке, пылая свечой от полонившего меня тщеславия!

Отец показался мне в этот вечер не то чтобы хмельнее, а веселей, шумливее, радостнее всех наших гостей. И я догадывался, что выглядел он таким нынче не от лишней рюмки зелена-вина или добавочной кружки бражки — нет. Золотые шмели веселого хмеля зароились в горячей его голове, как видно, не только от выпитого, но и от пережитого за минувший памятный день. А окрыляло, радовало, волновало отца сейчас многое. И внезапное возвращение домой вырвавшегося из цепких конокрадовских рук Игреньки. И дружные, буйные всходы на пашне, брызнувшие зеленым пламенем — по парам и поднятой залежи — после озорных грозových ливней, прошумевших над степями незадолго до троицы. И гнедая наша кобыла, ожеребившаяся вчера. И вот эта нехитрая праздничная пирушка с родичами и соседями — посреди открытого, чисто выметенного двора — при заколдованном, сумном свете взмывшего над станицей полноликого месяца...

А тут и я еще плеснул масла в огонь разохотившейся своей трехстрункой. И от ливня хлынувших на мою голову льстивых похвал, от взыгравшей в родительском сердце тщеславной гордости за меня, от осушенной второпях до дна очередной кружки шаткой бражки — старик совсем разошелся!

— Ух и пятки же раззуделись — никакова терпеленья у меня, воспода старички, больше нету!.. — запальчиво воскликнул отец. И с ходу, плюхнувшись задом на земляную — перед домом — завалинку, принялся нетерпеливо, рывками разуваться, стягивая опойковые, смазанные пахучим дегтем сапоги, поспешно разматывая чистые холщовые онучи.

Хорошо зная уже по прежним — нечастым — семейным нашим пирушкам что к чему, я мигом перестроил балалайку с минорного на мажорный лад и замер от предвкушаемого заранее восторга!

Я знал, что сейчас, разувшись, отец с молодой прытью вскочит с завалинки и, крутнув с веселым отчаяньем седой головой, с яростью ударив в ладоши, топнув правой босой ногой, ухарски запоет — скороговоркой — любимые свои плясовые припевки. Подзадоривая его, их подхватит с лёту кое-кто и из гостей. И отец сперва пройдетя дробной иноходью по широкому кругу, а потом уже перейдет в пляс, четко отбивая мелькающими подошвами такты вихревых, залихватских припевок.

Так оно и случилось.

Не успел я вцепиться пальцами в на зубок заученные балалаечные лады и ударить по струнам, как отца, словно вихрем, вмиг сдуло с завалинки. И он, звучно хлопнув в ладоши, топнув правой ногой, запел с вызывающей удалью, лихо заработав не по годам упругими, дорвавшимися до резвого пляса ногами:

Э-эх вы, Сашки-Канашки мои, Разменяйте бумажки мои! А бумажечки — новенькие, Двадцатипятирублевенькие! — подхватили вслед за ним, в такт прихлопывая в ладоши, дядя Егор и бабушка Платониха. Один густым — с хрипотцой — барком. Другая — пронзительно дребезжащим, близким к взвизгиванью дискантом.

А бумажечки — синенькие, -

Наши девушки — красивенькие! —

не сдержавшись, подключила к задиристым плясовым прибауткам негромкий, но по-молодому светлый — с лукавыми искринками — свой голос и мама, наблюдавшая за притворно-дурашливым переплясом отца с затаенной в губах улыбкой, скорее полупечальной, чем радостной... Эта наигранно-молодцеватая, с напускным разгульным ухарством полушутейная пляска отца была венцом затянувшейся на нашем дворе праздничной стариковской пирушки. И утомленные гости, вдосталь напотчевавшись, наболтавшись, натешившись, вдруг — все скопом — засобирались домой.

— На вот-те?!— всполошилась, ударяя в ладошки, мама.— Да это куда же вы — как при пожаре — заторопились-то у меня?! Куды ж это годно?! Не допито... Не доедено... Посидели бы ишо хоть с часок. Не в частом быванье... Повеселили бы нас. Побеседовали!..

Но гости, дружно покинув застолье, заговорили наперебой, отвечивая хозяйке полупоясные благодарственные поклоны.

— Спаси тя, кума, Христос за все приятности!.. — Покорно благодарствуем за хлеб-соль на столе...

— Низкий поклон этому дому — за угощеньице!

— Набеседовались. Набражничались. Накушались!

— Вспомянули — привел бог — продувну свою молодость...

— Попировали, пора и честь знать!..

— Не дорого — пито. Дорого — быто!..— отговаривалась от церемонных благодарений пребывавшая в великом смущении мама.— Уж извиняйте нас, коли што не так... Угощеньице-то — так себе. Не княжеское. Не боярское. Чо бог послал!..

Но слабый винительный голос ее погас — как свеча на ветру — от гулкого гомона дружно запротестовавших — опять же наперебой — гостей.

— Не гневи всуе бога, кума! Не приbedняйся! Не бери лишнего греха на душу...

— Ково ишо надо нам?! И так — стол ломится!..

— Али живой воды не хватает?!

— Ха! То ли бражка ей не замена?!

— Помилуй, кума! Премного предовольны. И сыты. И пьяны. И нос в табаке! Ково же тут ишо у вас делать?!

— Ну!

— Теперь уж — к нам пожалуйте. Милости просим...

— Не обегайте и нашего поместьяца...

— А в нашем терему двери для дорогих гостеньков завсегда настежь!

— Да и чо не погулять?! Отсеялись. Дожджа бог послал... Колки вон всю зимушку в куржаке красовались — к урожаю!

— Куржак — прадедовска примета, кум. Береза на зимнего Николу в инее — к вескому колосу на полосе!

— Ну!

— А полный месяц на Троицу — Духов день — это чо?

— А это — так. Ничо...

— Нет, сват. Это тоже — чо! К медовому травостою!

— И это — нашему брату не в убыток. Подай бог!

— Само главное дело, через пять дён — станишного атамана выбирать. Вот это будет — чо! Вот тама будет попито!..

— А тебе тута вроде бы не хватило?

— Не вяжись, сват. Это я — к слову...

— Ух залиться бы завтра в Куртамыш на ярманку, да кобыла у меня, язви ее, как на грех, жерёба!

— Куртамыш — чо. Вот в Куянды бы на Ильин день махнуть, — от тама ярманка! Конски бега — байга! Бай-ски той — кумыс рекой! Кыргызня. Цыганье. Жулье. Грабежи среди бела дня! Конокрадов жердями бьют! Смертоубийства! Разбои! Не ярманка — светопрестав-ленье!..

— Последний день Помпеи! — пробасил никому не понятные слова начитанный дядя Егор.

— Брысь ты, сват, со своими Куяндами!.. Вот Куртамыш — да, нашенский. Расея!.. Тама — как в этой песне. «Ехал с ярманки ухарь-купец. Ухарь-купец — удалой молодец! Заехал в деревню лошадок напоить. Своею гульбою народ удивить. Старых и малых поил он вином. Пей-пропивай, мы ишшо наживем!» Ясно?!

— Как божий день!..

— Уляша! Кума! Ивановна! Дай-кось я тебя расцелую. По-сродственному. За бражку.

— Не грехи. На балуйся, кум...

— Эх, сват! Отгрешили мы свое. Отпахались. От-страдавалися!

— Не сказывай, кум! Старый конь — борозды не портит! — вставил свое веское слово прибодренный хмельком дедушка Арефий.

— Борозды-то — не портит. Да пашет — неглубоко! — поправила старика резонным тоном бабушка Пла-тониха.

— Эй вы там, пахаря-горемыки! — загремел трубный бас дяди Егора. — Ежли уж отпахались, то и боронить бы хватит!.. Пора бы и выпрягать, кончать упряжку. И — по домам — чистое дело марш! Есть така поговорочка в сочинениях их сиятельства графа Толстого!

И сказав это, дядя Егор — рослый, еще не утративший былой строевой выправки старик, направился твердым, чеканным шагом к воротам. Поплелись за ним следом и все остальные, мигом притихшие, подобравшие крылья наши гости.

Мы — мама, отец и я — вышли проводить их за ворота. Тут снова были полупоясные поклоны. Благодар-ствия. Рукопожатия. Но все это уже так — для антуражу. Полувынятно. Урывочно. Скороговорочно!..

Наконец все втихомолку разбрелись по домам и мы остались одни. Но не успели оглядеться, как в воротах снова показалась тотчас воротившаяся бабушка Платониха. Она не пришла — прилетела. Суетная. Запыхавшаяся. Настороженно озиравшаяся.

Мама знала — зачем воротилась бабушка, и, подавая ей латунную кружку с припасенными чайными выварками, с укором спросила:

— И чо же это кум-от Платон седни нас обошел? Мы ведь, как завсегда, обоих вас поджидали...

— Не говори. Не говори. Не говори, кума!..— затараторила Платониха, проворно уплетая за обе щеки чайные выварки.— Одна беда мне с этой лейб-гвардией!.. Оба — с дружкой Устином — чуть свет седни в парадну форму выщелкнулись. К обедне, правда, сходили. Большую литургию — терпенья хватило — выстояли... А потом с разбегу — под звон всех колоколов — завалились в кабак! Ну и причастились тама — у целовальничка!.. А потом — море по колен — затесались прямым маршем к станишному атаману!.. Да эвон, слышите?! Соловьи залетные залились!.. Это — оне. Оне. Оне, кума!..— наострив ухо, категорично заявила Платониха.

И тут до нас долетели звуки неторопливой, распевной песни на два голоса. Один — басовитый, зыбкий, приглушенно-рокочущий — как далекий колокол. Другой — высокий, с надрывом, почти что рыдающий на выносе:

Шумел-горел пожар московский.

Дым расстилался по реке.

А на стенах твоих кремлевских

Стоял он в сером сюртуке.

— Оне!..— подтвердила Платониха заговорщическим полупшепотом, торопливо упрятывая указательным перстом за губу последнюю щепоть чайных выварок.— А теперь — бегу. Бегу. Бегу, кума!.. Запировалась я седни у вас, забражничалась... А тама, дома-то у меня — глазаньки бы мои ни на што не глядели — один кувардак! Скрозь — ни растворено, ни замешано... Спаси тя Христос, кума! Полетела. Полетела. Полетела!..

И по-стрепетиному вспорхнув, Платониха действительно вылетела с нашего двора вон — за ворота.

Я — вслед за нею.

Зачем я шел к тебе, Россия?!

Европу всю держал в руках!

Теперь с поникшей головою

Стою на крепостных стенах...

Тут я — снова оторопел. И не столько от песни, которая тоже будоражила мое воображение, бередила душу, сколь от двоих ее певцов, сразивших меня их броской, картинной красотой!

Да, это были они — писанные красавцы — Устин с Платоном — в парадной форме придворных лейб-гвардейцев. Оба громадного — голова в голову — роста. С белоснежными, выхоленными, веерами ниспадающими ^{на} ГРУДЬ бородами. В тонкосуконных алых штанах, заправленных в хромовые сапоги с серебряными шпорами, сверкающими переливчатыми лунными бликами...

Оба — в голубых, расшитых позументом по вороту и бортам мундирах, а главное — в роскошных их, сводивших меня с ума киверах, с их пылающими — при месячном свете — рублевыми свечами, упруго подрагивающими султанами!

Войска все, собранные мною,

Погибнут здесь, среди снегов.

В полях истлеют наши кости

Без погребенья и гробов!—

пели они, маршируя по нашей пустынной в этот поздний час улице — не совсем ровным, малотвердым строевым шагом.

Озаренные щедрым месячным светом, они прошли мимо нашего дома, как полуночные привидения, ослепив меня сиянием расшитых позолотой мундиров, блеском нагрудных регалий и неправдоподобным, волшебным великолепием лакированных киверов с упруго вибрирующими, словно слитыми из чистого серебра — султанами!

Но вот песня — умолкла.

Пленившие меня привидения — исчезли. Вполголоса — дружески — приматериваясь, придворные лейб-гвардейцы свернули с нашей улицы — в переулок.

И я остался один за воротами.

Один. Наедине — с пылающим полнолунием. С притихшей своей душой. С призывно мерцающим Млечным Путем — в мглисто-зеленоватом небе. С молодой, кроткой березкой за ракиновым плетешком в нашем палисаднике. С далеким-далеким, едва уловимым печальным перепелиным боем в ночной пристаничной степи...

Был я — один.

Но — не одинок.

И мне было радостно сознавать, что рядом со мной были родительский двор и дом. И все там было — нашим. Родимым. Моим! Отец. Мама. Братья. Сестры. Коровы. Овечки с ягнятами. Кони. Игренька. Терзай.

Но в это же самое время я — впервые отроду — вдруг подумал с испугом о том, что же будет со мною, когда я стану таким же большим, как старший из братьев — Иван?! И как я буду жить потом, вырастая, когда многого из того, что окружает меня теперь, к той поре, наверно, уже и не станет?!

С зябко дрогнувшим сердцем при этих невесть почему втемяшившихся в мою голову тревожно-грустных раздумьях, — опрометью ринулся я от ворот — в ограду. Мне загорелось быть рядом в такую минуту с отцом. С мамой. Отец сидел — теперь уже за пустым столом — в одиночестве.

Пригорюнившийся.

Отрешенный.

Печальный.

Перед ним стоял берестяной туесок с остатками недопитой гостями бражки. Опершись на чисто вымытую мамой, проскобленную ножом столешницу, он вяло крутил меж ладонями пустую латунную кружку, задумчиво глядючи куда-то поверх бревенчатого заплота.

Я тихо присел на завалинку — рядом с тут же притулившейся моей балалайкой. Было слышно, как мама, постукивая на кухне обливными глиняными мисками и позвякивая дешевыми гранеными чайными стаканами, перемывала — после гостей — посуду.

Отец, погруженный в какую-то особую, свою думу, не сразу заметил меня. А когда увидел, изумленно проговорил, с промелькнувшей на его губах смутной улыбкой:

— А я-то думал, што ты у нас давным-давно на седале с курицами!..

— Не. Я на придворну лейб-гвардию глядеть за ворота бегал.

— Ха! На Устина с Платоном?! - Ну.

— Но и как — оне? Хороши?

— Ух, красотишша! Пылом пылают!

— Хе!

Помолчав, отец наполнил латунную кружку бражкой. Но пить не стал. Задумался. Потом, рассеянно прибарабанивая по столешнице малогибкими, одеревеневшими от полувекового труда пальцами, сказал — как будто не мне, а кому-то иному:

— Мишура все это. Кивера их. Султаны. Регалии... Так — трень-брень. Трын-трава. Суета сует, как сказывается в писании!..

Он вздохнул. Выпил.

Вытер тыльной стороной ладони смоченные бражкой усы и — теперь уже обратясь ко мне — добавил:

— Эх, все ишо у тебя впереди, сынок!.. Тебе—на ярманку ехать, а вот нам с матерью — пора уж и домой с ее ворочаться. Мы — шабаш! Отбазаровались. Отторговались. Отъездились!..

Я не понял глубинного смысла отцовских слов — насчет ярмарки. Но они чем-то задели меня. Взбудоражили. Насторожили. И не зная, что сказать в ответ на это отцу, я, взяв в руки балалайку, принялся потихоньку перестраивать ее с мажорного на минорный лад.

Таким я видел отца не впервые. Выпив, бывал он одним — при гостях, на людях, другим — наедине с самим собою. Тут ничего не оставалось и в помине от былой его буйствующей развязной веселости — с притворно-дурашливым переплясом, с озорными присловьями, с шутейными песенками-погудками, с лихими и лукавыми молодецкими прибаутками...

Тут его точно подменяли.

Тихий и виноватый, подобревший и кроткий, овеванный некой неутолимой печалью, любил он в такие минуты круглого своего одиночества негромко — с раздумьем — певать одну из двух самых заветных его песен. Или —«Среди долины ровныя». Или —«Липу вековую».

Вот и сейчас, мельком поглядывая на припечалившегося отца, начал я тихонько — будто бы только для себя — наигрывать мелодию второй из любимых его песен.

И отец, словно разбуженный этой мелодией, вдруг рывком отпрянув от столешницы, выпрямился. Потом, забросив за спину ветхого венского стула увесистые, повисшие плетьюми руки, запел грудным, приглушенным — близким к звучанию басовой гитарной струны — голосом:

Липа вековая за рекой шумит.

Песня удалая вдалеке звенит!

Затем, переждав — с полузакрытыми глазами — повторенную мелодию этой песни на балалайке, он продолжал, напевая ее все тем же, как бы затемненным душевной печалью голосом:

Луг покрыт туманом, словно пеленой,
Слышен — за курганом — звон сторожевой!..
Было тихо.

Под крытым дерном навесом дремали у колоды насытившиеся овсом все наши кони. Спал, плашмя растянувшись на земле, и новорожденный жеребенок — саврасой масти, с пепельным пушистым хвостом трубой, с темным продольным ремешком на гибкой округлой спинке.

—или только притворялся спящим — и Терзай, положив лобастую голову на простертые по земле передние ноги. Он был неподвижен, и только изредка чуть подрагивали весомые, чуткие на каждый тревожный шорох и звук, черные — как смоль — его уши.

Бодрствовал — один Игренька. Изловчась снять с морды ременный недоуздок, за повод которого был привязан, как и все другие лошади, к колоде с овсом, он стоял теперь посреди открытой ограды — вольный. Независимый. Неприступный!

Вразброс расставив передние ноги, высоко задрал голову с настороженно пружинившими, стоямя торчавшими бархатными ушами,— походил он сейчас на изваяние, отлитое из самоварной меди. А белоснежная, мятежная грива его казалась — при месячном свете — жемчужной, и те же жемчужные искры мерцали в светоносном, летучем его хвосте!

Было похоже, что Игренька, насторожившись, прислушивался сейчас и к моему замедленному, меланхолическому брэнчанью на балалайке, и к тревожно-горьким словам невеселой отцовской песни.

Этот звук унылый невозвратных дней Пробудил, что было в юности моей!— пел отец с закрытыми глазами.

И я, вторя ему на балалайке, вроде как бы чувствовал себя теперь — наравне с ним — таким же утомленным и опечаленным, как был утомлен и опечален в эти минуты он, озаренный сумным, сумеречным светом нахлынувших воспоминаний о какой-то, видимо, самой светлой поре в далекой, отмерцавшей призрачными огнями заревой его молодости!..

Перевалило уже за полночь, когда я добрался наконец до любимого в летнюю пору моего ложа — одра старой бесколесной нашей телеги, стоявшей спокон веков под навесом.

Я любил этот почерневший от времени, тяжеловесный, добротный одр, смастеренный — по словам отца — еще моим дедушкой Семеном в его молодые годы и доставшийся нам по наследству. Я любил его за чистую топорную — без ножовки и стружка — работу. За уютное, зыбкообразное его дно, впригонку обшитое узкими осиновыми тесинками. За какой-то особый — терпкий, дремучий запах, источаемый древней его древесиной. Я любил его как живую, стойкую память о дедушке, которого уже смутно помнил. И мне

нередко казалось, в этом старом тележном одре жила себе потихоньку, таясь от людей, добрая, кроткая, бескорыстная душа дедушки!..

По вечерам здесь всегда ждала меня привычная моя постель, загодя припасенная мамой. Обрывок — в аккурат мне по росту — старой серой кошемки. Лоскут домотканого холщового полога, служившего мне покрывалом. И любимая моя маленькая подушка-думка в пестренькой ситцевой наволочке.

Сладко, всласть всегда спалось мне — и в погожие и в ненастные летние ночи на днище этой вековой дедушкиной телеги, на немудрой моей постели!

Чуткий до каждого шороха, Терзай спал рядом с тележным одром — на земле, и я, засыпая, всегда мог коснуться вялой рукой его волосатой морды или же студеного, как ледышка, носа.

Но особенно хорошо было ночевать под навесом, когда тут — или у колоды с овсом, или у рыдвана со свежей, медовой травой — полудремали, сыто пофыркивая и глубоко и печально вздыхая, наши кони.

Миротворным покоем, благостной, обжитой домовитостью веяло здесь от многого. От полудремлющих лошадей. От стойкого аромата травы, накошенной на лесной опушке. От поленицы, от звона сухих березовых дров, по-хозяйски прибранных под навесом. От густого, вязкого запаха обильно смазанных дегтем осей и втулок новой нашей — на деревянном ходу — телеги. И от связанных попарно — дружками — березовых веников, припасенных для бани впрок — на долгую матушку-зиму!..

Засыпал я, едва коснувшись щекой моей обоюдной думки, на этой постели мгновенно, не всегда даже успев дотронуться вялой рукой до ледяного носа дремавшего рядом Терзая.

А светлые сны мои были здесь мимолетными, сбивчивыми, полужасанными, и, просыпаясь поутру, я не всегда помнил их.

Так вот и тут, едва добравшись до телеги, я — переутомленный дневными и вечерними впечатлениями — повалился снопом на милое сердцу ложе и заснул, как будто бы прежде, чем успел смежить набрякшие свинцовой тяжестью веки.

На этот раз мне приснился Игренька. Золотой. Серебряногривый. Крылатый. Я мчался на нем — сломя голову — верхом.

Без узды.

Без ума.

Без памяти.

Прямым маршем — на ярмарку в Куянду!

И вот — теперь уже наяву — я действительно сидел верхом на Игреньке. И не просто — верхом. А в настоящем походном казачьем седле, с тороками, с приятно поскрипывающей кожаной седельной подушкой со звонкими — подогнанными по моим ногам — блестящими стальными стременами.

Седло это было — не простое. Заветное. Я был одарен им — в день моего крещения в купели станичной церкви — крестным моим, дядей Егором. Одарен в обмен на обетное слово отца вырастить из меня неробкого, не обделенного удалью и душой казака — достойного наследника былой боевой славы

крестного. А когда пробьет и мой час послужить верой-правдой отечеству нашему, проводить меня в этом седле, в конном строю с казаками-однополчанами в далекий — за тридевять земель — поход, на действительную мою службу в городе Верном!

Это старинное казачье седло было дорого дяде Егору — как память о бывших его походах под началом генерала Скобелева, которого старик боготворил до конца своих дней, почитая и ставя его даже выше самого императора Александра III — яростного скобелевского недруга!

Цветной литографированный портрет Скобелева в застекленной, тускло-золотистой багетной раме висел в переднем углу, чуть пониже божницы — в самом чтимом месте всегда опрятной, всегда чисто прибранной горницы в пятистенном доме моего крестного.

Часто бывая в этом родственном нашем доме, я не в силах был оторвать восторженно горящих глаз с роскошного скобелевского портрета. Вдоволь наслушавшись рассказов крестного о безумной храбрости, Дерзком уме и редкой душевности этого приумножившего славу России генерала, я глядел на него всегда — глазами дяди Егора — как на полубога, и сердце мое умирало от застенчивой и завистливой к нему любви.

Впрочем, иногда покорял он меня двояко. То — царственной, неприступно-гордой его осанкой. То — земной, подкупающей человеческой простотой. Он привораживал меня затаенным, глубинным блеском суровых и строгих, по-орлиному зорких глаз. Удивлял высоким, не омраченным морщинами, чистым лбом. Пышными — с проседью — словно разметанными ветром бакенбардами и лихим разлетом распластанных — как беркутины крылья — седых, круто закрученных вверх остриями, победоносно-властных его усов.

Я не говорю уже о парадном его мундире. Генеральских эполетах. Аксельбантах. Георгиевских крестах. При виде всего этого великолепия я вообще терял дар речи — у меня присыхал к нёбу язык! Седло же, которым так щедро одарил меня дядя Егор в день моего крещения, было свидетелем боевых его походов.

— А как было дело?— начинал каждый раз с вопроса дядя Егор сказ свой о взятии Геок-Тепе.— А так. Осаждали мы крепость три дни. А на свету четвертого — пошли на штурм. Было это в понедельник. Двенадцатого января. В одна тыща восемьсот восемьдесят первом году. Куропаткин — был он в ту пору пока ишо в чине полковника — повел своих молодцов в наступление на западны стены крепости. А орлы есаула Гайдарова ринулись на штурм — с сиверу... Мы жа находились в тот час в личном резерве Скобелева. Стояли в конном строю. Ни живы — ни мертвы. Вросли в седла. С пиками наизготовке. Не дышим. Горим от нетерпенья. Ждем команды для смертной атаки...

— А Скобелев?

— Он — впереди. На белом, как кипень, своем красавце-ахалтекинце. В парадном мундире. При всех регалиях. С саблей наголо. Не генерал — картина!..

В этом месте, прервав на минуту рассказ, дядя Егор, как правило, умолкал, словно предоставлял возможность слушателям зримо полюбоваться гарцующим перед войсками на пылком белом коне боевым генералом — собранным, волевым, полным железной решимости, хладнокровного мужества и лихой отваги!

— Ровно в двенадцать часов пополудни грохнула наша матушка-мина! — продолжал после маленькой заминки дядя Егор. — Рухнула ихняя крепостная стена — с проломом длиною в пятнадцать сажен. Вот этого нам и надо было! И тут — началось дело!.. «С нами бог, братцы! Клинки-пики — к бою! За мной! В атаку! Ураа!» — прогремел ерихонской трубой громобойный голос Скобелева. И вихрь вихрем рванул он с места в карьер — впереди нашей конной лавины!.. С гиком и ревом ворвались мы — следом за генералом — через пролом крепостной стены в Геок-Тепе. Вот тут-то и узрел я крошечный ад. Преисподнюю. Вертеп. Содом и Гоморру!..

— Страшно было?! — спрашивал я упавшим голосом.

— Страшновато теперь — вспоминать... А в тот час — не до страху! Я, к примеру, летел за Скобелевым — как на крыльях. Ни коня, ни седла под собой, ни стремян под ногами — ничего не чуял. Одно было в твердой памяти: пика, взятая наизготовку!.. Я и теперь не скажу, отчего у меня в ту секунду потемнело в глазах, — от ярости в сердце али от поднятой конницей пыли. А пыль стояла стеной. И вот когда черное небо — среди белого божьего дня — мне показалось с овчинку!..

— А текинцы?

— Дрались — как звери! И наездники — любо поглядеть. Хоть и без седел — жейдаком. Босиками. В белых рубахах, с засученными по локоть рукавами... В рукопашном конном бою страшней, чем оне, супостата на свете нету. Сходятся — в лоб, и секутся своими косыми саблями — насмерть!

— И как только ты это, кум, уцелел после такой страсти?! — восклицала в таких случаях с непритворным, по-детски наивным изумлением мама.

— Бог пронес, стало быть. А то ишо — как жа?! Да я-то што. Всего-навсего — нижний чин. Трава в чистом поле!.. А ты вот скажи, как сам Скобелев уцелел? Ни одной царапины — за весь поход. За всю восьмилетнюю кампанию!

— Смелого — пуля боится. Храброго — штык не берет! — утверждал дедушка Арефий с пылкой категоричностью.

— Скобелев — пулям не кланялся. И перед штыком — не робел. Про это вся армия наша хорошо знала — отвечал дядя Егор. — И все же — после каждого штурма — все мы ликовали и диву давались при виде невредимого генерала!.. Приходилось мне читать про птицу Феникс, которая сгорела дотла, а потом — воскресла из пепла! Так вот и наш Скобелев. Не один раз воскресал он из мертвых после огня и дыма штурмовых схваток с неприятелем. А последний свидетель тому — наша битва за крепость Геок-Тепе!

— Но тут-то ведь ты его спас от верной гибели, кум, — не чудо! — напоминал ему об известном нам всем его подвиге дедушка Арефий.

— Так точно. Был такой презент... Вовремя изловчась, сбросил я пикой наземь с коня дикошарого босиканта-текинца. Оплошай я тогда на секунду, и лихой бусурман вмиг косой своей саблей снес бы напрочь голову генералу!..

— И не нашивать бы тебе тогда век-повеки, куманек, именных серебряных часиков!— подливал масла в огонь дедушка Арефий.

Так с малых лет наслушался я от дяди Егора немало таких рассказов о Скобелеве, портреты которого украшали передние углы почти всех горниц в станицах нашей всей Горькой линии. Висел в переднем углу скобелевский портрет и в нашей горнице,— правда, не такой роскошный, как у моего крестного.

И выходило, что в казачьих семьях чтили генерала более, чем самого царя, портретов которого — если они и были в доме — никто не вывешивал рядом со Скобелевым — в переднем углу и тем более под божницей.

В нашем же доме портреты Николая II и всех членов царской семьи украшали, например, старенькую клеенку на кухонном столе. И во время семейной трапезы мама запросто ставила на облик государя-императора — он красовался в центре столешницы — обливной горшок со щами или глиняную миску с просяной кашей. Я же, в предвкушении сытного обеда или запоздалого ужина, нетерпеливо барабанил своей расписной деревянной ложкой по светлому лику наследника престола — цесаревича Алексея или по пухлым щечкам и надменным губкам сестер его — великих княгинь,— правда, оболстительных на тогдашний мой взгляд — смотря с какой стороны стола сидел...

Позднее я уже многое знал о Скобелеве не только со бывшего и начитанного дяди Егора, но и из прочитанных мною — учеником третьего класса начального станичного училища — книжек, взятых из школьной библиотеки.

Родился Михаил Дмитриевич Скобелев в 1843 году. В военной семье — его отец и дед были генералами, хотя и из незнатного рода. Род Скобелевых вел свое начало от однодворца Никиты Скобелева — тоже военного, однако дослужившегося в XVIII веке только до сержанта.

По окончании Академии Генерального штаба, Скобелев в 1869 году был откомандирован в Туркестан, под начало Ташкентского военного генерал-губернатора Кауфмана.

В Туркестан Скобелев прибыл двадцатилетним капитаном Генерального штаба. А спустя восемь лет, по завершении кампании, отбыл в Россию в чине генерал-адъютанта.

Неслыханно пышную встречу устроили генералу жители Москвы.

Но совсем по-другому встретил Скобелева сановный, чопорный Петербург, проявивший подчеркнутое равнодушие — ежели не полускрытое презрение — к высоким его наградам.

Тон тому задал новый император — Александр III, едва успевший вступить на престол после убитого народовольцами отца — царя Александра II. Вновь нареченный самодержец всея России принял героя более чем холодно — с сухостью, близкой к враждебности, нашел уместным попрекнуть боевого генерала во время этой недолгой аудиенции за то, что он не сумел уберечь от гибели молодого, блестящего генштабиста — графа Орлова, погибшего при штурме крепости.

На этот неумный царский упрек Скобелев ответил лишь легким пожатием плеч и мимолетной бледностью красивого, холеного лица — верным признаком на мгновение бросавшего его в озноб гнева — близкого к бешенству...

Изрядно перепуганный доселе неслыханной в государстве популярностью молодого генерала, царь, втайне завидуя боевой его славе, острому уму и даже броской внешности, ненавидел Скобелева.

Ненавидел и боялся его.

Боялся не меньше, чем революционеров-народовольцев, покончивших с его отцом — Александром II и, по слухам, бродившим по Петербургу, грозивших теперь и ему — Александру III — той же карой.

Скобелев же, даже не скрывая своего глубокого презрения к царю и хорошо зная об огромной своей популярности в войсках и в народе, держал себя, вращаясь в великосветских кругах столицы, подчеркнуто вольно и независимо. А туповатый, в высшей степени подозрительный и трусливый император не в силах был унять своей властью героя России, затмившего своей громкой славой тусклый облик нового самодержца.

Но подлинно царские почести оказали ему русские люди на родине при победоносном завершении Балканского его похода.

На этот раз героя Шипки и Плевны народ встречал хлебом-солью.

Колокольным звоном.

Поднятыми из церковей хоругвями.

Развернутыми знаменами полков, сражавшихся под началом боевого генерала на Балканах.

В Могилев, где была расквартирована 16-я дивизия, которой командовал в одно время Скобелев в боях под Плевной, въехал генерал поздним осенним вечером при свете пылающих факелов, среди выстроившихся шпалерами войск и многотысячных толп народа.

Покинув экипаж, генерал шел с обнаженной головой по улицам, запруженным восторженными войсками и ликующими городскими жителями. И даже Александр III принял Скобелева по возвращении его в Петербург с Балкан внешне более милостиво, чем это было при первой их встрече. Однако правительство тотчас же запретило военным служащим произносить в честь генерала публичные речи. А офицерам конногвардейского полка не разрешили даже принять от Скобелева обед в ответ на два обеда, которыми он был

удостоен конногвардейцами. Более того, по указанию свыше, в том же полку был удален скобелевский портрет из дежурной офицерской комнаты...

Все это худо вязалось с официальным успехом генерала в Петербурге, и он, доведенный до бешенства такими булавочными уколами правительства, принял было в одно время решение о немедленной подаче в отставку.

Однако влиятельные друзья отговорили его от этого скандального шага, напомнив ему, что служит он не царю — России!

Но, отговорив Скобелева от отставки, близкие к нему люди не могли избавить его от тревожного настроения, похожего на душевный надлом, от тяготевшего над ним мрачного предчувствия близкой смерти, об этом теперь — все чаще и чаще — заводил он разговор в узком кругу.

— Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..— огорошил однажды таким категоричным утверждением Скобелев есаула Дукмасова — любимейшего своего адъютанта по Балканской кампании.

— Помилуйте, Михаил Дмитрич!— опешил тот.— Ведь вам никто не угрожает смертью!

— А почему вам знать, голубчик!..— возразил ему на это с многозначительным вздохом Скобелев.

Об этом вычитал я позднее из книжки «Скобелев» писателя Вас. Немировича-Данченко, напечатанной в Санкт-Петербурге за три года до моего рождения — в 1903 году. А книжкой этой был награжден я школьным нашим попечителем — двоюродным моим братом — хорунжим Антоном Кириллычем Шуховым на торжественном школьном акте, при успешном моем переходе из третьего в четвертый класс.

Приехав в мае 1882 года в родовое свое имение — Спасское,— читывал я про Скобелева в этой книжке,— он заказал в семейной церкви панихиду по генералу Кауфману.

В церкви генерал был все время глубоко задумчив. Затем отошел в сторону, к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы — рядом с могилами деда и отца,— и опустившись на колени, прикрыл глаза.

Священник отец Андрей подошел к нему и, взяв его за руку, сказал при этом:

— Пойдемте, пойдемте отсюда... Вам рано еще думать о том!..

И Скобелев, как бы очнувшись, заставил себя улыбнуться, встал.

— Рано?! Да, конечно, рано... Еще повоюем, а потом и помирать будем!.. Тогда же в Спасском, прощаясь с одним из своих Друзей, он, полный тяжелых предчувствий, сказал:

— Прощайте!

— До свидания...

— Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди всегда кончают роковым образом... Бог пощадил

меня в бою... А люди?... Что же, может быть, в этом искупление. Почему знать, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расплачиваются другие!.. Приходилось мне потом читать про Скобелева и иные книжки. И в каждой из них говорилось о многочисленных не разгаданных и по сей день тайнах, окружающих имя генерала.

Одной из таких неразгаданных тайн явилась трагическая гибель матери генерала — Ольги Николаевны Скобелевой. Это было первым звеном в цепи прочих таинственных обстоятельств в судьбе самого Скобелева.

Летом 1880 года Ольга Николаевна прибыла на Балканы. Приехала она сюда якобы для того, чтобы приобрести в Болгарии участок земли, построить на нем усадьбу и основать женский монастырь, и для этой цели привезла с собой громадную сумму наличных денег — около миллиона.

Ольга Николаевна много ездила по стране, и всюду была восторженно встречаема местными жителями, чтившими ее как мать национального героя России. Ее неотлучным телохранителем во всех этих разъездах являлся поручик Узатис.

Узатис во время войны за освобождение Болгарии от турецкого ига служил в 16-й дивизии. За храбрость, проявленную в боях под Плевной, был представлен к высшей награде — кресту св. Георгия 4-й степени, и Скобелев, очень ценивший блестящего, отважного в бою и весьма исполнительного офицера, взял его к себе — адъютантом.

По окончании Балканской кампании Узатис продолжал служить в частях русской армии, расквартированной в Болгарии. Когда же Ольга Николаевна прибыла на Балканы, он — по приказанию Скобелева — был приставлен к ней для ее охраны. Он был выходцем из богатой нижегородской семьи, широко образованным офицером, свободно владевшим многими европейскими языками. И Ольга Николаевна, бесконечно доверявшая ему во многом, очень ценила столь блестящего своего спутника.

Но вот однажды, когда собралась она в очередную поездку по стране — в город Чирпан, Узатис, сославшись на некое весьма срочное и важное воинское поручение, уклонился от сопровождения ее в этой поездке. И она тронулась в дорогу, взяв с собой в экипаж только горничную да унтер-офицера Иванова. При ней были деньги, и немалые — около пятидесяти тысяч рублей ассигнациями, прихваченные для какой-то одной ей ведомой цели.

Совершенно непонятно, почему было решено тронуться в путь глубокой ночью. Тем не менее это было так.

И вот неподалеку от города Филиппополя, из которого путники выехали, направляясь в Чирпан, экипаж Скобелевой был внезапно встречен среди дороги Узатисом и двумя сопровождавшими его вершными стражниками-черногорцами.

— Что случилось, поручик?!— спросила с тревожным недоумением Ольга Николаевна, приказав кучеру остановить экипаж.

Вместо ответа Узатис молниеносным ударом сабли раскроил череп Скобелевой. А черногорские стражники тотчас же покончили с кучером и горничной. И только одному раненому унтер-офицеру, оставшемуся в живых,

удалось скрыться, воспользовавшись близким кустарником и темнотой, и, добравшись до города, забить тревогу!

С рассветом погоня трех казачьих разъездов настигла Узатиса, укрывшегося за мельницей на реке Дермендере. Попав в окружение своих преследователей, поручик пустил себе пулю в висок, навеки запрятав в своей могиле тайну этого кровавого преступления.

Второй такой неразгаданной и поныне тайной овеена и утрата Скобелевым всего своего состояния, стоимостью в один миллион рублей. Где-то там за месяц до крайне загадочной своей кончины, Скобелев, приехав в Москву, навестил своего друга — князя Оболенского. Впоследствии князь вспоминал в своей книжке — «Наброски из прошлого», что генерал был не в духе, не давал прямых ответов на вопросы. Было очевидно, что он был чем-то крайне встревожен.

Князь пригласил генерала на ужин в «Славянском базаре». Но и тут, в любимом московском ресторане Скобелева, его не покинуло мрачное, временами — почти полувменяемое состояние духа.

— Да что, наконец, с вами?!— спросил князь.— Вам, вижу, нездоровится?

— Да как вам сказать, Сергей Сергеич!— задумчиво проговорил Скобелев, расхаживая по кабинету «Славянского базара» размеренным, строевым шагом.— Видите ли, деньги мои пропали...

— Какие деньги?!— удивился князь.— Вы потеряли бумажник?

— Ах, какой там бумажник! Я потерял миллион... Да. Да. Весь мой миллион пропал бесследно!

— Как?! Каким образом?! Где?!

— Да я и сам не дам тому никакого толку... Вообразите, что мой крестный отец Иван Ильич реализовал по моему приказанию все ценные мои бумаги, продал все золотые вещи, весь мой хлеб в Спасском, и — на этих днях — сошел с ума. Я понятия не имею, где теперь мои деньги... Сам же он невменяем. Я пытался несколько раз упорно допрашивать его. А он в ответ чуть ли не лает на меня из-под дивана. Словом, впал вдруг в полнейшее безумие... И я не знаю, как теперь быть и что делать!

Так и осталась навсегда никому не ведомой истинная причина исчезновения скобелевского миллиона,— возможно, что и по личной воле генерала отказанного на какое-то втайне задуманное им дело, связанное с его законспирированной борьбой против политики ненавистного ему Александра III...

И последнее звено в роковой цепи всех этих таинственных событий замкнулось—25 июня 1882 года — внезапной кончиной Скобелева, тоже овеенной непроницаемой тайной.

В этот день белый генерал присутствовал на обеде у своего армейского друга — барона Розена. За столом, кроме Скобелева и Розена,— еще трое близких генералу людей. Личный доктор его — военный врач Вернадский, полковник Баранок — скобелевский адъютант. И казачий есаул Саранский — бывший ординарец Скобелева в годы Балканской кампании.

За обедом Скобелев почти не пил. Был малоразговорчив, тревожен и мрачен. А в конце этого маловеселого обеда вдруг — ни с того ни с сего — сказал, обратясь к полковнику Барануку:

—А ты помнишь, Алексей Никитич, как сказал на похоронах в Геок-Тепе подвыпивший батюшка: слава человеческая, яко дым переходящий! Хорошо, хорошо сказал тогда старик!..

После обеда у Розена Скобелев уехал в гостиницу «Англия» и, заняв там номер, провел вечер в обществе некоей немки Ванды — дамы сомнительной репутации...

Близко к полуночи Скобелев вдруг почувствовал себя плохо. Гостиница всполошилась. И врач прибыл уже к бездыханному телу генерала.

Весть о внезапной кончине тридцатидевятилетнего Скобелева потрясла русскую армию, весь русский народ и зарубежных славян,— ведь на Балканах его имя было не менее популярно, чем в России...

В официальном сообщении о смерти Скобелева утверждалось, что скончался он от паралича сердца и легких, воспалением которых якобы страдал еще так недавно...

Но этому официальному сообщению никто не верил — ни в России, ни за ее пределами. И тут и там все в голос говорили о том, что генерал умер не естественной смертью, а связанной с какими-то таинственными обстоятельствами, имевшими прямое отношение к царскому двору, к политике.

— Это дело рук самого Александра Третьего!— всегда категорично говорил дядя Егор, когда речь заходила о таинственной смерти Скобелева.— Зельем опоили его царедворцы. По прямому наущению царя. По Петербургу в ту пору — читывал я — ходили слухи, что покойный император Александр Второй встает по ночам из гроба и бродит по Казанскому собору. Бродит и предвещает гибель своему сыну, а престол пророчит Скобелеву! Новый царь верил этим слухам и страшился генерала пуще воды и огня.

— А может, и правда — разрыв сердца? — полуутвердительно говорил, усумнясь, кто-либо из собеседников дяди.

— Никакого разрыву! — сердито прикрикивал тот на маловерца.— Убили его. Убрали с царской дороги... Я-то знавал, какой это был богатырь! С коня по трое суток не слазил. А марши, бывало,— по сто тридцать верст иной раз за сутки! Иные из нашего брата, случалось, в седлах засыпали. А он — упаси боже!— сутками глаз не смыкал. Орлиные были то очи... Так што про скобелевское сердце пусть оне мне — вкривь и вкось — лучше не боронят!.. Я любил генерала, наверно, не меньше дяди. Всем поражал, захватывал пылкое воображение мое этот необыкновенный военачальник. И героической жизнью. И загадочной смертью. И даже — его похоронами.

Я читал, что когда гроб с телом Скобелева был поставлен для отпевания в московской церкви Трех святителей, заложенной у Красных ворот его дедом, мимо усопшего генерала — за два дня — прошло более шестидесяти тысяч человек.

— Ради любви его к нашему отечеству,— говорил, заключая свою речь на панихиде по Скобелеву, епископ Амвросий,— ради любви к покойному народа

нашего, ради слез наших и сердечной молитвы нашей о нем, паче же ради бесконечной любви твоей, господи, благоволительно приемлющей чистую любовь человеческую во всех видах и проявлениях, буди к нему милостив на суде твоём праведном!

Весь путь, по которому следовал торжественно-скорбный кортеж — от церкви до Казанского вокзала,— сплошь был покрыт лавровыми и дубовыми ветвями и листьями, и все близлежащие улицы и переулки были до отказа забиты народом.

К месту последнего успокоения — в родовое имение Спасское — тело генерала сопровождали воинские части всех родов оружия под командой генерала Дохтурова. И на протяжении всего пути — от Москвы до Рязани — тысячи и тысячи людей — крестьян, мастеровых, фабричных рабочих — стояли вдоль полотна железной дороги, и многие — на коленях.

Траурный поезд из пятнадцати классных вагонов, медленно продвигаясь, делал непродолжительные остановки чуть ли не на каждой версте.

То была небывалая, неслыханная в истории России манифестация народной скорби по национальному ее герою, убитому царедворцами — в этом все были глубоко уверены — по прихоти самого царя.

Когда же траурный поезд прибыл на железнодорожную станцию Ранненбург, крестьяне понесли гроб с телом Скобелева на руках. Так несли они когда-то на руках — за многие версты — с этой станции до родового скобелевского имения и тела его деда, отца и матери, похороненных в фамильной прадедовской церкви села Спасского, где обрел свой последний земной приют — рядом с ними — и легендарный Белый генерал!..

А через восемь лет после кончины Скобелева — в 1890 году — за подписью Наказного атамана Сибирского казачьего войска, генерала от кавалерии Сухомлинова поступил приказ о создании во всех станичных начальных школах так называемых сотен скобелевских казачат. Создавались такие сотни из учеников двух старших классов — третьего и четвертого, и мальчишки, зачисленные в сотни, именовались отныне — скобелевцами!

Бывал таким скобелевцем и я, когда пришла и моя пора встать под трехцветное знамя. Все мы — односотенцы — носили форму нашего Сибирского линейного казачьего войска — летнюю и зимнюю. Сапожки из яловой кожи — со скрипом. Черные — миткалевые летом, зимой грубошерстные шаровары с красными лампасами. Гимнастерки защитного цвета с такими же красными, как и лампасы, погончиками. Темно-коричневые кожаные кушачки с двуглавым орлом на медных бляхах. Серые суконные шинельки. И фуражки с красными околышами, молодежато сдвинутые набекрень над лихими, ухоженными чубчиками... Это — летом.

А в зимнюю пору красовались мы в дубленых овчинных борчатках, называвшихся на местном казачьем наречии — чистоборами, и в белых, тоже ухарски заломленных набекрень барашковых папахах.

Все мы, конечно, земли под ногами не чуяли, вдруг облачась в такую восхитительную воинскую форму. Но больше всего нас сводили с ума наши шашки. Казачьи, почти всамделишные. С черными лакированными ножнами. С

позолоченными — бронзой — эфесами. С пышными махровыми темляками. С белыми сыромятными портупьями. Все было в них настоящим. И только клинки в роскошных ножнах были деревянными...

Командовал нашей сотней все тот же мой двоюродный брат — Антон Кириллович Шухов.

Тот. Да — не тот!

До этого был он для меня самой близкой нашей родней, и я привык запросто называть его — браткой.

Братка был в нашем фамильном роду ото всех на отличку. Гвардейского роста, выправки и осанки, с черной, курчавой окладистой бородой, лихо закрученными кверху рогульками усов и темным, как смоль, холеным чубом, он чем-то походил одновременно то на императора Александра III, то на бравого ярмарочного цыгана. На цыгана он смахивал, может быть, еще и потому, что с самой весны до глубокой осени разгуливал по станице только босиком, с обнаженной головой, с полурасстегнутым воротом выгоревшей на солнце, некогда ярко-красной сатиновой рубахи.

И только по редким — годовым — праздникам видывал я братку обутым в шагреновые сапоги, начищенные ваксой до зеркального блеска, и одетым в старомодный войсковой парадный мундир — длиннополый бешмет из тонкого темного сукна, при диагоналевых — мышинового цвета — шароварах с красными лампасами, заправленных в высококозырьковые щегольские голенища.

Касторовая — с багровым околышем и серебристой кокардой — фуражка, откинута набекрень над вздыбленным чубом, придавала братке еще более молодежавый, бравый, гвардейский вид. А натертая осколком каленого кирпича бронзовая медаль, украшавшая левый борт его мундира, казалась мне недоступно высокой, внушающей трепет наградой, будя и тревожа пылкое мое воображение.

Вот таким — при полном параде — и увидел я братку на первом нашем сборе. Такие сборы происходили у нас раз в неделю — по субботам, когда мы — старшеклассники — освобождались от классных занятий в школе, поступая на круглый день в распоряжение командира нашей сотни.

Местом нашего сбора — в погожую осеннюю и зимнюю пору — был плац в древней, обнесенной земляными валами Пресновской крепости, а в непогоду — просторный зал войсковой казармы, предназначенный для гимнастических упражнений на спортивных снарядах и занятий по устной словесности.

Являться на плац или в войсковую казарму мы были обязаны к восьми часам утра в присвоенной нам форме.

При шашках. Выстроившись по ранжиру, мы ждали — пока в вольных позах — прихода нашего командира. При появлении же его наш правофланговый, долговязый Арся Островский, исполнявший у нас роль отделенного командира, подавал нам свирепую команду.

— Смирно!

И мы тотчас же умирали душой и телом в строю, наторев со временем съедать выпученными глазами грозное наше начальство!..

Между тем, на мгновение задержав свои суровый, в высшей степени подозрительный взгляд на наших одеревеневших лицах, братка, вдруг выпрямившись во весь свой гвардейский рост, оглушал нас громовым басом:

— Здорово, орлы!

— Зравяжалая, господин хорунжий!— радостно рявкали мы в ответ слитными, лающими голосами.

— Молодцы!

— Рады стараться, господин хорунжий!

— Стоять вольно!

И мы, слегка разомкнув строй, принимали внешне расслабленные позы. Но внутренне по-прежнему были собраны, насторожены.

Хорошо изучив впоследствии пылкий, сбивчивый норов нашего командира, мы в такие минуты — после его похвалы — всегда мысленно трепетали в ожидании почти неминуемого очередного разноса, бранного посрамления, хулы — одного или многих из нас.

А срамил и хулил он нашего брата — под горячую руку — за что попало.

За не тот чуб.

За не ту выправку.

За не так надетую фуражку или папаху.

За не так собранную гимнастерку, под кулаком — на заду.

И даже — порой — за не тот бойкий, веселый взгляд, каким должен был отличаться — по убеждению братки — каждый из нас от всех прочих станичных ребятишек!..

— Ты где стоишь — в строю али на Куендинской ярмарке?! Разевай, сукин сын, ширше рот — за душой полезу!— угрожающе рычал на кого-нибудь из нас братка в пылу гнева.

Впрочем, называть его браткой я надолго зарекся после первого же нашего сбора. Как самый меньший ростом, я замыкал в строю левый фланг. И когда началась перекличка, я, услышав из браткиных уст свою фамилию, бойко — с душевной доверительностью — откликнулся: — Я, братка!

— Цыц! Замри, варнак!..— так рявкнул он, что у меня, дрогнув в коленках, подкосились ноги.— Заруби себе на носу,— сказал он, подойдя ко мне вплотную, мрачным полусшепотом,— што отноне я тебе не братка, а отец-командир. Восподин хорунжий! Понял али тупо?!

— Так точно. Понял, восподин хорунжий!— пролепетал я озябшими от страха губами.

— То-то!.. Сукин ты сын!..

С тех пор я долго еще опасался называть его браткой даже вне строя, когда он захаживал к нам домой — по-свойски.

Однако тут он был совсем другим человеком.

Привычным.

Нашенским.

Без мундира.

Чаще всего босиком. С непокрытой головой. Распояской. И был добродушным. Покладистым. Кротким. Почти застенчивым. И даже голос был у него теперь совсем иным — не тем, что у господина хорунжего.

Глуше.

Ровнее.

Мягче.

Доброжелательнее.

Изрядно побаиваясь нашего грозного атамана, мы меж тем — каждый по-своему — любили его. Любили за бравую — не по годам — осанку и выправку. За лихой, властный голос. За орлиную зоркость гневных, быстро-летучих глаз. За старомодный парадный его мундир. За медаль, добытую им — через личную храбрость — на поле битвы...

Однако больше всего, пожалуй, любили мы братку за походные казачьи песни, которым охотно — в часы досуга — обучал он нас. После полевых наших учений в пешем строю на крепостном плацу или же после гимнастических упражнений на различных спортивных снарядах в старой войсковой казарме он, стоя в центре нашего тесного круга, запевал неожиданно высоким, светлым, залиvistым голосом одну из любимых своих песен:

Слышишь, бьют тревогу?! Становись в ряды! Помоляся богу, В поле выходи!

И мы, повинувшись властному взмаху его руки, лихо подхватывали с лету слова воинственного припева этой песни:

Гремит слава — трубой.

Мы дралися за Дарьей.

По холмам твоим, Чиназ,

Разнеслась хвала про нас!

Иногда он, полуприкрыв дремучие ресницы, запевал скорбно-протяжным — с надрывом — голосом:

Вот полночь наступает. Луна горит светло. Отряд наш выступает С бивака своего.

А мы, слегка покачиваясь, как в седлах, бережно, неторопливо подхватывали слитными, полурыдающими голосами слова печального припева и — как уходящие в чистое поле всадники — уводили его за собою в дальнюю даль:

Горы Андижана — недруги отцов! Ферганская долина — кладбище удальцов!

Певали мы и более древние, овейные порохом дымом былых сражений наших прапрадедов, родные и близкие нам по духу вековые казачьи песни. Давным-давно исчезли с лица земли — на заброшенном крепостном кладбище — безымянные прапрадедовские могилы, последнее пристанище некогда верных и бдительных стражей былой Пресновской крепости. И никто уже из ныне здравствовавших родовых их потомков не помнил, не знал их имен.

Осели, стали малоприметными поседевшие от ковы-леи, заросшие таволгой и бессмертником, неприступные в прошлом для неприятеля земляные

крепостные валы и обезводевшие рвы. И только несколько тяжких надгробий — чугунных плит — в былой оградке исчезнувшей — невесть когда — крепостной часовни ревниво хранили имена бывших командиров крепостного гарнизона, отлитые церковнославянской вязью.

То были люди знатного рода. Графы. Князья. Гвардейские лейб-гусары. Кирасиры. Кавалергарды. Генералы от инфантерии. Полковники. Штабс-капитаны. Штабс-ротмистры. Есаулы. Поручики.

Но забыты были пресновчанами и эти надписи на прикрытых плакучей травой забвения, прочно вросших в окаменевшую землю плитам. И только современницы этих исчезнувших с лика земли древних прапрадедовских могил и этих начертанных на плитах знатных имен, только они, неподвластные тлению войсковые казачьи песни продолжали жить в народной памяти, тревожа и волнуя наши души, как тревожили и волновали — надо думать — когда-то и их...

И мы любили певать эти дивные, хмелящие нас ароматом седой старины, боевые, походные песни наших далеких предков. Чаще всего мы пели самую любимую мною из них — про старого пушкаря и гарнизонного атамана.

Рано утром весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый.
Дернул сивым усом,
Брякнул сабли концом
И раздул свой фитиль догорелый.
Он у пушки стоит,
Сам — на крепость глядит
Сквозь прозрачные волны тумана.
Замер духом старик —
Как отроду привык, —
Поджидая отца-атамана.
— Чу, не в нас ли палят?!
Не идет ли супостат?!
Не в поход ли идти нас заставляют?!
Мигом стройся в ряды,
Атаман едет сюды! —
Казачи казакам говорили.
Живо шашки — на ремень,
И фуражки — набекрень,
И на площадь бегом побежали.
Прилетел — как буран —
Наш сибирский атаман,
А за ним — есаулы лихие!
Он — на белом коне,
Карабин — на спине.
В тороках — пистолеты двойные!
Он коня осадил.

Черный ус подкрутил.

И сказал нам:— Здорово, ребята!

Самым же ярким, неповторимым, счастливым и радостным событием в жизни нашей сотни — были летние лагеря. По окончании последнего — четвертого — класса станичного начального училища, мы обязаны были пройти трехнедельные воинские учения — в полевых условиях — в конном строю.

Эти конные полевые учения, невзирая на их нелегкость, увлекали нас, конечно, куда больше, чем маршировка' в пешем строю. А бивачная наша жизнь в белом палаточном городке лагеря, разбитого на высоком увале в полутора верстах от станицы,— воспринималась нами как некий необыкновенно нарядный, светлый, красочный праздник, и он не мог не запомниться нам на всю жизнь!..

Ровно за неделю до нашего выступления в лагерь — уходили мы туда в так называемую глухую пору в сельской жизни, наступавшую после закончившегося сева и еще пока не начавшегося сенокоса,— на площади, близ вековой нашей станичной церкви, устраивали нам традиционный инспекционно-войсковой смотр. Точнее сказать — не нам, а нашим коням, снаряжению, амуниции.

Такой смотр нашей сотни производил — в присутствии братки и всего станичного начальства — сам атаман 1-го военного отдела Сибирского линейного казачьего войска — есаул Иванов-Ринов.

Для обеспечения колонизации на Западно-Сибирской окраине,— говорится в эпиграфе, открывающем мой роман «Горькая линия»,— русскому правительству в XVIII веке пришлось отгородиться от немирных кочевников искусственно укрепленными линиями. Одна из этих линий пролегла от Яика до Иртыша — вдоль цепи горько-соленых озер — и была названа потому Горькой. Три из древних крепостных станиц, расположенных на этой линии,— Пресновская, Пресногорьковская и Кабаньевская, со всеми их окрестными казачьими поселениями,— входили в подчинение атамана 1-го военного отдела, а из служивых казаков этих станиц и поселений формировался 4-й сибирский — имени Ермака Тимофеева — казачий полк.

В мирное время полк этот стоял в далеком от нас Семиречье — в городе Верном, где и отбывали наши казаки свою пятилетнюю действительную службу. Каждое лето в начале июня — уходил из нашей станицы в далекий поход очередной наряд всадников призывного возраста. Свыше трех тысяч верст — через полубезлюдные в ту пору степи нынешнего Центрального Казахстана и кремнистые пустыни Прибалхашья — преодолевали эшелоны в конном строю, походным порядком. И только уже глубокой осенью достигали места назначения, вступая с лихими песнями в заветный город Верный.

Летние лагеря были превосходной школой для нас, рожденных — как нам походя внушали сызмальства старшие — для нелегкой действительной службы в родном полку и для дальних, полных всяческих тягот, невзгод и лишений походов.

Вот отчего во всех казачьих семьях — состоятельных или малоимущих — выделяли на срок наших лагерных сборов лучших в хозяйстве, хорошо обьезженных, малостроптивных коней. Те же станичники, у кого таких, годных к строю, коней не имелось, арендовали их на месячный срок из многотысячных конских табунов богатейшего степного князька бая Альтия — главного поставщика строевых лошадей чуть ли не для всего линейного Сибирского казачьего войска.

То были кони степной — так называемой киргизской породы. Неброские на вид, но крепко сбитые, ладные, широкогрудые — в большинстве своем — иноходцы. С короткой, прочной, плотной спиной. С мускулистыми крестцами. С тонко выточенными — в резных сухожилиях — ногами и с такими прочными, точно слитыми из олова, копытами, какие даже во время многотысячеверстных походов никогда не нуждались в ковке. На скачках-бегах — они часто устраивались и зимой и летом в наших станицах — такие кони на дистанции в тридцать верст проходили каждую версту в среднем за полторы минуты.

С малых лет я — как и все мои сверстники казачата — был без ума, без памяти влюблен в лошадей. В степные конские ярмарки. В бега. В казачьи строевые учения в конном строю. В лихие, отважные джигитовки всадников. В мятежные — как вьюги — тройки станичных наших ямщиков.

Не оттого ль, припоминая теперь про всех ушедших или далеких ныне друзей моих той поры, я невольно связал нашу юность с образом овейной вьюгой, засыпанной бубенцами ямщицкой тройки?! И пленительному образу этому посвятил я однажды один из редких и поздних моих стихов.

«Каждое младенчество печально,— утверждает Иван Бунин в «Жизни Арсеньева».— Рос я в великой глуши,— пишет он дальше.— Пустынные поля. Зимой безграничное снежное море. Летом — море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и к чему».

О, как понятны, как бесконечно дороги теперь мне эти проникновенные, как откровение, слова.

Ведь знал же и я — в отличие от Игреньки и Терзая — в пору моего младенчества про все это. Про великую полевую тишину. Про зыбкое колыхание отягощенных влагой хлебов и трав. Про нежный полувнятный аромат незабудок и колокольчиков.

И я тогда — в пору своего отрочества — испытывал и тревожную любовь и щемящую душу нежность бог весть к чему и к кому. И меня волновал властный, как звук полковой трубы, зов бескрайнего степного простора. И меня манили в неведомую, загадочную даль блуждавшие в ковылях дороги. И я

ощущал притихшей душою невыразимую печаль осенних полей. И я испытывал чувство круглого одиночества — в иную пору...

Между тем все было впереди. Все было где-то там — в дали, овейной призрачной дымкой, недавно занявшейся заревой моей жизни.

А сейчас — в это раннее вешнее утро — я сидел верхом на Игреньке. В знаменитом дарственном седле дяди Егора. Сидел с притихшей, настороженной душою.

Все пленяло, покоряло, волновало меня в этот неповторимый — трижды благословенный — утренний час. Высокое, бледно-зеленоватое — вслед за солнцевосходом — небо. Блеклые от сухой прошлогодней травы, жухлого ковыля и дымчатой полыни степные дали. Острый, пряный, пьянящий аромат талой, парной, уже пригретой вешним солнцем земли.

И сердце мое трепетало, сжималось от светлой, радостной нежности ко многому из того, что окружало меня в эти — может быть — самые светлые в моей жизни минуты. К старому отцу. К старшим братьям моим — Ивану с Дмитрием. Ко всем нашим трем запряженным в плуг лошадям. К пасшейся на отшибе поджарой нашей кобыле и саврасому ее жеребенку с пепельной гривкой и пушистым трубчатым хвостом. И — конечно же — к Терзаю, мирно лежащему сейчас себе в сторонке и смотрящему на нас с Игренькой счастливыми, завистливыми глазами.

Отец в чистой, застиранной светло-палевой ситцевой рубаше распояской, с обнаженной седой головой стоял на меже. Он бережно держал зажатую в ладонях краюшку кулича, освященного мамой на пасхальной заутрене. И я, уже зная о том — что тут к чему, нетерпеливо поерзывал в седле, выжидал непременно в этом случае родительского благословения на посевную нашу пахоту.

Прошлой весной — при начале сева — я тоже был на пашне. Был-то был, да — в ином качестве. Просто вертелся — вместе с Терзаем — под ногами у старших. Нынче же был я — наравне со всеми нашими — соучастником священного деяния природных пахарей. Мастеров земли. Творцов хлебородия. Кормильцев немалой нашей семьи, в поте лица добывающих хлеб насущный!

— Ну, в добрый час! С богом, ребята! Поехали!.. — молвил наконец отец, осенив себя широким, вольным крестным знаменем.

Большой Иван, весело присвистнув, дал тем самым конной нашей запряжке ходу и, приподняв — как бы играючи — плуг за поручни, крякнув, глубоко запустил стальной лемех в парную, ароматную — как опара — родимую землю. Отец же, осторожно положив в теплую, пахучую борозду кусочек пасхального кулича, ласково прикрыл его взрыхленной плугом землей. Затем молодым, привычно-проворным движением жилистых рук он приподнял с земли весомое, наполненное посевным пшеничным зерном берестяное лукошко и, закрепив его с помощью заплечного жгута на уровне груди, — стал походить теперь еа старого солдата-пехотинца с воинским барабаном... И тут, поспешно опередив нашу запряжку, он зашагал в глубь полосы, как бы прокладывая нашей тройке дорогу.

Твердой, уверенной, хозяйской поступью шел он по родной земле. И несуетными — по-царски торжественно-властными были полетные движения правой его руки, которой он щедро одарял из берестяного лукошка золотыми потоками зерна родимую плодотворящую землю!

Чувствуя в эти минуты полную мою слитность со всем этим дивным, озаренным трепетным утренним светом миром, блаженно покачиваясь в седле, я не в силах был оторвать восторженно горящих глаз от шагающего впереди нас отца — красивого, сильного, помолодевшего человека!

Признаюсь. Я и поныне думаю, что это и был, наверное, самый счастливый, неповторимый, трижды благословенный день в моей, не скупой на радости и печали жизни...

Самыми ближними соседями нашими — по смежным пашням — было несколько пресновчан, живших, впрочем, своими домами — зачастую совсем не в соседях ни друг с дружкой, ни с нами — вразброс — в разных краях станицы. И не в ухоженном, парадно-нарядном центре ее — в ряду каменных или бревенчатых, обшитых тесом просторных палат с шатровыми, княжескими крылечками — поместий именитой пресновской знати. А чуть-чуть поодаль от них. В сторонке. Наособицу. На отшибе. В некотором — как бы вроде застенчивом — самоотстранении от таких стержневых коронных станичных строений. По ту сторону незримой — для стороннего ока — границы, настороженно ограждавшей это внутрестаничное — никому тут не подвластное — княжество-государство!

По теплым, укывшимся от сквозных ветров криво-коленным, окраинным переулкам и закоулочкам красовались — сами себе за поглядку — домовито обжитые деревянные пятистеннички под крутыми дерновыми кровлями. Опрятные — при усердной наружной побелке в канун годовых праздников — саманушки и пластяные мазанки с подрисованными синькой наличниками, с веселой геранью на подоконниках. Ракитовые плетни вокруг оград. Поседевшие от времени, осевшие набок осиновые заплоты. Непременные — при каждом дворе — теремки гостеприимных скворешников на длинновязых, торчмя торчавших жердях над поветями. Широкозахватные приусадебные огороды с полузрячими — в одно оконце — наглухо заросшими лебедой и крапивой землянушками — жаростойкими баньками на задворках...

Тут — по окраинным сторонам древней станицы — и жили из века в век старожилы ее — рядовые коренного, потомственного казачества. И родовые подворья их смыкались с окрестным, настезь распахнутым великим степным простором, с бескрайней целинной округой, отведенной под летние пастбища для общественных табунов дойных и яловых коров, овечьих отар и прочей домашней скотины. Выгоны соседствовали с имениями этих одностаничников. Они были — рядом. За огородными изгородями. За оградными плетнями. За воротами. Потому-то такпряно и бражно пахло в этих краях в погожие летние вечера пленительным ароматом полевого разнотравья. Парным молоком. Сочной коровьей жвачкой. Теплой — оранжевой от жарких вечерних зорь — подкопытной табунной пылью. Вялым, печальным дымком кизячных костров в

далеких — едва различимых в молчаливом степном просторе — кочевнических аулах.

Такими были станичные подворья пашенных наших соседей. Однокашников — в прошлом. Односумов. Однополчан — по прежней сторожевой службе на границе с Китаем, а то и в Действующей армии на любом из театров военных действий с неприятелем... Одностаничников, броских — когда-то там — на вид, на осанку, на выправку стремянных джигитовщиков на смотровых конных учениях — в канун выхода в полк — в присутствии самого Наказного атамана Сибирского линейного казачьего войска!.. И не матери — дома родили их, детей удали и отваги. Гарнизонных трубачей и полковых запевал. Георгиевских кавалеров. Сородичей по оружию. Неробких бранных рубак. Картинных красавцев — грудь колесом, чубы — навывлет, сабли — наголо. Столь живописно выглядели они на лакированных заморских карточках, заснятых с них — в пору былых военных кампаний — где-то там. На чужой стороне. В иноземных державах...

Ничего не скажешь, народ был тертый. Степной. Вольнолюбивый. Двужильный. Бывалый. И огни, и воды, и медные трубы — по сказам — прошли в свое время они — как отцы их и деды и прадеды — в маршевых эшелонах генералов от кавалерии. И полковые знамена и штандарты их реяли над горными перевалами под чужестранными небесами Балкан. Взывались над хмурыми сопками Маньчжурии. А на памяти старших из братьев нашего поколения еще свежи были воспоминания о сабельной славе знаменитого — по I мировой войне с немцем — Брусиловского прорыва!

Но все это — в прошлом.

Что и говорить, с верховной станичной знатью были наши пашенные напарники — далековато не ровня. Ни в чем. Ни в именитости. Ни в имуществе. Да и — вообще. Ни в кураже. Ни в риске. Ни в горлохватстве. Ни в матерщине. Ни в осанке. Ни в спеси.

Хлебодобытчики нашего пашенного государства севали от пятка до десяти десятин на двор. В основном, понятно, пшеницы. Поменьше — на две-три загонки — иных прочих злаков в подспорье. Ржи. Ячменя. Проса. Овса. И это — в зависимости не столь от радения, сколько от силы каждого.

Те же — станичные наши князья во князьях — распахивали каждую весну от полусотни, а то и до всех ста с гаком все тех же казенных десятин — на хозяйство. Засевали они широкозахватные свои пашни только отборной, спросовой — через заезжих хлебопромышленников — и на рынках России и далеко за ее пределами знаменитой по тем временам Русской пшеницей. Всякие же прочие злаки, хоть тут и тоже севались, но в расчет пробойными хозяевами не брались. Главное было — в увесистых осенних намолотах сортового, до звона сухого, искрометного — как золотые империалы — пшеничного зерна. И от проливных — в урожайную пору — бражных ливней его захлебывались иные глубокоутробные, неподвластные ни огню, ни воде закрома, упрятанные за кремнистые крепостные стены амбаров. В прок. В неубыток. В надежу!

Да и удельные пашни-то пробивных, разухабистых земляных королей были от нашенских наособицу. В далеком далеке от станицы. На краю света,

можно сказать. На отшибе. В глухой, пропахшей дымом кизячных костров блуждавших окрест казахских кочевий глубинной степи. На арендованных у казны так называемых Землях Кабинета Двора Его Императорского Величества. Так, по крайней мере, — с заглавных букв — титуловались тогда в казенных бумагах примыкавшие к станицам Горькой линии Западно-Сибирские необжитые степи.

Вот на этих-то царедворских землях и императорствовали наши станичные козырные тузы. Немировы. Стрельниковы. Стабровские. Крутиковы. Вронские. Боярские.

Кроме щедрых на урожаи — не утомленных еще накопленным за века плодородием — целинных земель владели там именитые пресновчане безраздельными степными, луговыми и займищными пастбищами. Оди-чавшими от подножных кормов и воли конскими косяками. Табунами — ходячими тучами — рогатого скота. Отарами осоловевших от жира курдючных баранов. Целыми стадами воловьих, верблюжьих и конских упряжек. Бродившими в степях полчищами джатаков — безлошадных казахских кочевников, — полударовых — за крышу над головой, за кусок хлеба — рабочих рук.

Однако не только одни эти полударовые рабочие руки — при избытке гужевой или ярмольей там тягловой силы в хозяйствах — приумножали из года в год шальные ярмарочные барыши и дивиденды удалых на разгул и разбой атаманов императорских земельных владений. В придачу и к тому, и к другому, и к третьему день и ночь — от зари до зари — чертомелили на их пашнях новомодные — диковинные по тем временам — земледельческие машины. Техника. Так теперь бы сказали.

Все эти хитроумные пахарьские орудия, сеятельные, жатвенные и молотильные машины были ненашенскими. Из-за морей. Одни — из Америки. Другие — германские. С броскими, нарядными фирменными таврами на самом видном месте любого такого изделия заокеанских заводов Мак-Кормика или — тоже не близкой от наших мест — Германии и какого-то загадочного, малопонятного — Рандруппа!

Это были трехлемешные и пятилемешные пахарьные самосады-букаря — на пяти-шестипарной воловьей тяге. Очень картинные внове — с яркокрасочными корпусами пароконные сеялки. Облегченные, маловесомые с виду — прицепные к букарям и механическим сеялкам — же-лезнокорпусные бороны — «Зиг-Заги». Это — для пахоты и сева. А для жатвы — машины одна другой подиковинней. Чудо — к чуду. Самосбросы — крылатые, похожие на волшебных птиц машины, — того и гляди, готовые в любую минуту взмыть в небеса и по-орлиному запарить над перекатными волнами шафранного пшеничного моря. И совсем уже дивному диву давались мы — и старый и малый — при виде самовяза. Это чудо тогдашней сельскохозяйственной техники, чем-то схожее с парусным кораблем — его я видывал в ту пору, разумеется, только на книжных картинках — ошеломляло всех незримой его рукотворной работой. Машина — при трехпарной конной тяге — не только проворно жала хлеба, но и тут же — на глазах — ловко вязала их в туго подпоясанные шпагатом снопы,

попромежуточно сбрасывая их затем считанными десятками с текучей полотняной платформы на бронзовооперистую пшеничную стерню.

Но самой большой диковинкой для пресновчан были появившиеся — в канун первой мировой войны — на обширных токах зорких и вертких, как коршунье, степных наших наместников сложные — так называли их тогда — соломотрясные и зерноочистительные молотилки. Одни — с круговыми конными приводами, другие и того похлеще — с локомобильными двигателями!

Все это было — там. По ту сторону. В малодоступном для всех прочих одностаничников царстве-государстве расторопных, непромашистых пшеничных королей. Наказных атаманов горьколинейных станиц. Былых предводителей в походных полках летучих казачьих сотен. Неробких рубак. Хвастунов. Матерщинников. Чистоплюев. Усачей. Отставных есаулов.

Пахари же нашего круга ходили в нижних чинах. Это — и по титульным полковым спискам в пору пятилетней их действительной службы на заставах Русско-Китайской границы, и в обыденной будничной жизни их — дома. Ну, а по Сеньке и шапка. Потому-то и на пашнях у них только и было новинок из новомодных орудий земледелия — однолемешный, сменивший прадедовскую соху, железный рандрупповский плуг. Изредка — далеко не у всякого — пароконная сенокосилка, в придачу с механическими железными граблями, приобретенная по долгосрочному кредиту у бойких на ломаный русский язык разъездных коммивояжеров Мак-Кормика. А еще реже — жатвенная лобогрейка.

Лобогрейка!

Хоть и раскаляла она, бывало, до полуобморока крутые лбы иным схожим с кузнечными молотобойцами церковного регента и кузнеца нашего Лавра Тырина проворным ребятам,— вручную, с натурой, наотмашь сбрасывали они деревянными вилами-двойчатками с платформы тяжкие пласты скошенного хлеба, и жаркий пот в три ручья хлестал по их обнаженным, обуглившимся от загара и пыли спинам,— а все же они были счастливы. А все же это была не бывшая ручная жатва — серпом. И все же. И все же. Это была — машина!

Древние же, громоздкие, малоуклюжие деревянные сохи с насажными железными сошниками были заброшены. Валялись заросшие беленой и крапивой где-нибудь на дальних задворках.

Валялась теперь без всякой нужды в хозяйстве такая же прапрадедовская соха и за нашим двором. На огороде. За — тоже наглухо заросшей угарной полынью — земляной баней. И ранней весной, когда едва только сходил на нет — и то еще не везде — последний, взявшийся водой снег, здесь — на южной стороне старенькой нашей баньки — жарче иного другого места на родимых задворках — припекало дымящуюся парную землю горячее солнышко. И мы — Тронька, Пашка и я, не считая Терзая,— смерть как любили это самое уютное в мире место — надежное пристанище для нехитрых наших забав и игр. Еще бы!

Ведь это после бесконечной — хоть и тоже трижды прекрасной — сибирской зимы. После бирюльчатого треньканья на губах, после малосвязной ребяческой болтовни, после пылких перепалок и взаимных кулачных потасовок на тесноватой печке,— тут был рай. Царство небесное. Раздолье. Простор. И с непривычки, в охотку, мы, кажется, даже не дышали — пили студеноватый, прозрачный — как родниковая вода — воздух. И томил душу и слегка кружил, хмелил голову аромат отволглого на повети сена, теплой земли, талого снега, вязкой горечи набухших березовых почек...

Тут — в такие погожие дни — к нам то и дело присоединялся еще и дедушка Клим. По маме — мой прадедушка. Рослый — совсем не в нашу породу — старик. С заиндевелой, холеной — по-генеральски наотмашь раздвоенной гребешком — бородой. Степенный. Осанистый. Со строевой выправкой правофлангового казака или властного есаула. Он был участником русско-турецкой кампании. Дрался под знаменами Скобелева на Балканах. Был рублен косой турецкой саблей во время рукопашной каши под Плевной. Брал Шипку. И воротился из похода в Пресновку при полном банте всех трех наградных степеней — Георгиевским кавалером!

Рассказывать про свои бывшие бранные походы — в отличку от прочих бывалых в ратных делах людей — дедушка недолюбливал. Ссылался на ослабевшую — за давностью годов — память. Но было похоже на то, что старик опасался стороннего к нему недоверия, и ему было грешно и совестно думать при этом о том, как бы иные — с недоброй подозрительностью — люди не приняли его за выжившего из ума хвастуна...

Дедушка наш был вчистую неграмотным. Но на диво всей станице — вдосталь начитанным. Это он — по слуху. По редкостной от природы памяти. Через громкие чтения зимними вечерами другого деда — Арефия. Соседа нашего. Мы жили с ним — домами с угла на угол — на перекрестке Пожарной улицы и Озерного переуллка.

Смолоду наторевший в грамоте и письме почти самоуком, дедушка Арефий выбился потом на действительной службе спервоначалу в полковые каптенармусы, а затем — и в писаря. Впоследствии он даже числился некоторое время письмоводителем в личной канцелярии Семиреченского генерал-губернатора — весьма просвет щенного, говорят, по тем временам человека — Герасима Колпаковского.

А недорогими — в броских, ярко - красочных, нарядных корочках — книжечками ежегодно обзаводился наш книговозлюбитель — впрок, про запас — в пору двух наших зимних станичных ярмарок — Никольской и Афанасьевской, именуемых так в честь табельных престольных дней двоих угодников. Снабжали же его этими книжками одни и те же — давние его дружки — тороватые курганские, ирбитские или шадринские книготорговцы. Мужики расторопные. Продувные. Веселые. Говоруны. Прибаутчики. Краснобаи.

Читывал дедушка Арефий новоприобретенные произведения вслух. Даже и тогда, когда находился в опрятной своей горнице — с геранью на подоконни-

ках — один на один — без слушателей. Читывал — с выражением. Чувствительно. В лицах. И все скопом. Подряд. Без выбору. Без разбору.

Тут были и «Жития святых». Это — про Сергия Радонежского. Симеона Столпника. Варвару Великомученицу. Феодосия и Хевроныю Печерских. А еще — сочинения графа Салиаса — «Пугачевцы» и «Петербургское действо». Потом — «Похождения разбойника Ивана Чуркина». «Трагедия французской королевы Марии Антуанетты, или Царский каприз». Захватывавшие дух у слушателей приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса. «Невинная девственница в омуте разврата». Письмо Льва Толстого императору Николаю II. А также еще и нравоучительные графские сказания — притчи для народа — «Много ли человеку земли нужно?». «Разговор с прохожим». «Свечка», «Сказка про Ивана дурака и двух его братьев».

Попадались под проворную руку дедушки Арефия — в числе этих сочинений — самые разные, спросовые в народе «Песенники». Тут были и «Песни Сибирского казачьего войска». И — «Ухарь-купец». И — «Тройка борзых». И — «Ванька-ключник». И — «Маруся отравилась». А также — не менее расхожие «Письмовники» — образчики различных казенных прошений, шутейных и полубовных посланий. Поздравительные стихоплетения по случаю Дня ангела родителей. Воспитателей. Попечителей. Благодетелей. И тут же — стихотворная матерщина Ивана Баркова. Это малопрстойное, разухабисто-складное творение титулованного санкт-петербургского сочинителя сбывалось не в печатном образе — писанным чьим-то залихватским почерком от руки. И курганские коробейники или шадринские офени всучали этот товар охочим до него грамотеям полутайно. Втридорога. С подмигиванием. Из-под полы...

Кроме всей этой разномастной книжной рухляди водились у дедушки Арефия и книжки особые. Заветные. Береженные. И хранились они у него наособицу. В походном окованном медными планками полковом сундучке. Под надежным замочком. Это — «Конек-Горбунок», «Князь Серебряный». «Жизнеописание Белого генерала Скобелева». Псалтырь. И стихотворения Ивана Никитина.

Ко множеству читанных Арефием сочинений относился дедушка Клим без особого пыла. Так себе. С прохладцей. В одно ухо влетит, в другое — вылетит. Однако к малогромкому — со старческой хрипотцой — голосу соседа-чтеца прислушивался с неизменной прилежностью и в самых интересных — по его разумению — местах чьего-то там сочинения по-ребячески оживлялся, как бы переживая свою сопричастность к событиям и героям иной книги. Особенно когда заходила речь про разбойничьи подвиги отважного хвата Ивана Чуркина или про сатанинский нюх пронырливого сыщика Шерлока Холмса.

Между тем страницы из заветного арефьинского пятикнижия — не исключая преисполненные темного и грозного смысла слова Псалтыря — дедушка наш готов был и в сотый раз — как бы внове — слушать с непритворной душевной радостью и многое из этих страниц — не раз слушанное за годы — запоминал назубок. Наизусть. Навеки.

Дедушка — по маминой ветви был он для меня уже и прадедушкой — принимал — и это было не в редкость — самое живое участие в ребяческих наших забавах и невольным старческим досугом своим делился, бывало, с нами легко, радостно и охотно. На печке ли — व्यюжными зимними вечерами. Раннею ли весною — в погожую пору — на пригретых солнцепеком наших задворках. В огороде. За баней. Возле наглухо заросшей прошлогодней беленой и полынью, давным-давно повергнутой в прах забвения сохи.

Не одно поколение природных пахарей в семейном нашем роду вскормила хлебом насущным эта малоуклюжая с виду, грубо сработанная из вековой березы прадедовскими умельцами, почерневшая от времени — как допотопный пашенный наш чугунок — сошниковая соха. И дедушка Клим, перепашавший ею за всю некороткую свою жизнь, может быть, немалые тыщи не сосчитанных им десятин родимой земли, почитал теперь былую свою напарницу в заветном и светлом — как причастное таинство в дни гонения — труде. Опершись знаменосной, простроченной матово-серебряным галуном бородой на черемуховый посошок, часто погружался он в круглом одиночестве в сокровенные — невесть о чем — свои думы.

И в самом деле — о чем?

Скорее всего, наверное, об отмерцавшей — как полуугасший, покинутый путником далекий костер в полумглистой вечерней степи — скуповатой на земные радости, не ахти как богатой удачами жизни...

Но как только мы — я, Тронька и Пашка — врывались гурьбой на наши задворки, к насиженному стариковскому месту, — дедушка, словно очнувшись от забытья, мгновенно преображался. Просветлевший, приободрившийся, чудом помолодевший встречал он нас с таким непритворным изумлением, будто не виделись мы с ним бог знает как долго и свалились вдруг откуда-то как снег на голову.

Заводной, взбалмошный и властолюбивый наш вожак — Пашка, с ходу же затевая с нами — со мной и Тронькой — яростную игру в бабки, лихо ухитрялся — к неописуемому ребяческому восторгу деда — за какие-то там считанные минуты разделать нас под орех, раздев, что называется, до нитки. За три кона мы трижды выкупали у Пашки — по грошу за дюжину — все наши дочиста проигранные ему бабки и снова мгновенно проигрывали, зверски сметенные им с кона маховым броском его увесистого, залитого свинцом битка. Разделавшись с нами на скорую руку в одну игру, Пашка — без передыху — вовлекал нас в другую. Прицепив к дышлу сохи бечевочные постромки, он впрягал нас в них парой и, поставив соху на попа, вцепившись в рогатые поручни, повелительно прикрикивал:

— А ну, обормоты, — с богом! Поехали!..

И мы — в подражание пароконной упряжке — по-лошажьки отфыркиваясь, до отказа натянув перекинутые через наши плечи бечевые постромки, перебирали с наигранным нетерпением упругими — в цыпках — босыми ногами, изображая собой ретивых сытых коней, волочивших сквозь полынную пустошь глубоко запущенную Пашкой в борозду прадедовскую соху.

— А ну, не вихлять туды-суды у меня, обормоты! Не воротить морды в сторону! Ух, и вр-ррежу!.. Не ломать — ужаль вас паут в задницу — борозды!— орал на нас, устрашающе размахивая свистящим в воздухе ракетным прутиком — вместо кнута,— все больше и больше свирепея без всякой придури, изображавший пахаря Пашка.

И дедушка Клим, подогревая нашу новую — еще более пришедшуюся ему по душе — забаву с заветной его сохой, теперь уже сам — не хуже нашего — загорался, как малолеток, азартной нашей игрой в вешнюю пахоту и, подливая масла в огонь, подстегивал напутственным словом Пашку:

— Валяй, валяй, сынок! Не робей. Приведи господь, паши себе всю жизнь на здоровье. Да поглубже!.. И сохой похрабрей руководствуй. Она ведь, матушка, тоже не без характеру — с норовом! И как иной какой конь седока на спине, так и она своего пахаря — чувствует. По всему — скрозь. По руководству. По выправке. По силе. По умыслу... А первую борозду на полосе норови проложить прямехонько, чтобы — как стрела!.. И потом — лошаками правь с умом. Построже. Вожжей на ходу не Испускай. Воли им, голубушкам, гляди, не давай. Словом — не страми. А вожжой — приструнивай!— строго наставлял дедушка Клим будущего хлебороба, направляя его на путь праведный.

Я им, обормотам, покажу волю-долю! Оне у меня в борозде — не распляшутся!.. Прямо! Не спотыкайся! Бороз-здой!— вопил — в ответ на дедушкины наставления, все больше и больше сатанея от неподдельной ярости, грозно посвистывая над нашими головами воображаемым своим кнутом, Пашка.

Позднее, вдоволь натешившись очередной нашей игрой в чехарду-езду, во время которой опять-таки больше всего доставалось от долговязого Пашки нам с Тронькой — Не мы на нем, а чаще всего он на нас ездил верхом,— мы усаживались — ноги калачиком — возле дедушки. И потом — как всегда — слушали его пересказы читанных ему вслух престарелым станичным книголюбом Арефием сочинений про князя Серебряного. Про сыскные похождения Шерлока Холмса. Про отпетого — сорви-голова — муромского разбойника Ивана Чуркина. Про лихого атамана-казака Черноуса и его киевскую ведьму за Днепром. Про кровопролитное сражение славян с турецкими нехристями на горе Шипке под победоносными знаменами генерала Скобелева.

И тут же, бывало, не раз читывал он нам, разинувшим рты, наизусть, без запинки — страничку за страничкой — озорные — как веселый балалаечный наигрыш при ярмарочной карусели — живые, летучие строчки про Конька-Горбунка. А то еще и — особо любезные стариковскому сердцу — стихосложения Ивана Саввича Никитина — про неведомого нам бурлака. «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой! Нет, послушай-ка ты, что вот я испытал, так узнаешь о жизни тяжелой!»

Но с особой душевной охотой читались нам в такие минуты старым нашим наставником — читал он их вполголоса, с приглушенной молитвенной распевностью — сокровенные стихотворные раздумья все того же любимого им сочинителя — на этот раз — про соху. «Ты, соха ли, наша матушка. Горькой бедности помощница. Неизменная кормилица. Вековечная работница!»

Лицо старика в таких случаях вдруг обретало некое иное, совсем не схожее с привычным его обликом, мало знакомое нам выражение. Всегда неизменно добродушное, нередко скрашенное по-ребячески кроткой, доверительной улыбкой, оно заслонялось в эти мгновения как бы коснувшейся его легкой тенью. И старик, не сводя горестно прищуренных, подернутых поволокой глаз с маячившей перед нами в пепельно-седой пыли сохи, продолжал — еще более глуховатым, с хрипотцой, голосом — дочитывать нам конечные строки полубившегося на всю жизнь никитинского стихотворения. «На меже трава зеленая. Полынь дикая качается. Не твоя ли доля горькая в ее соке отзывается? Уж и кем же ты придумана, к делу навеки приставлена? Кормишь малого и старого. Сиротой сама оставлена!»

— Вот так-то, чижики!.. Золотые это, праведные слова. Обездолилась, осиротела она ныне у нас, матушка. Одряхлела вместе с нашим братом — былыми пахарями. Бросовой стала. Никому не нужна... — заключал с горьким вздохом старик, с грустью глядучи на обреченно заброшенную на задворную свалку спутницу трудовой его молодости.

— А у нас тятя прошлогод плуг в городу на ярманке купил. Во плуг — не чета какой-то там сохе — всю скрозь железный! Аж со стальным — как зеркало — лемехом. С заморским тавром. Весь — как конь вороной, грива золотая! С колясянкой — на легком ходу. С лакированными валечками для постромочек — я те дам! С пласторезом! — непрошено вторгаясь вдруг в рассудительную стариковскую речь, начинал было — как и почти всегда не совсем к месту — боронить, прихвастывая, вдоль и поперек настырный Пашка.

— А ну-ка замри, конь вороной. Скрозь — железный!.. — строго цыкал на заводного сопляка старик, передразнивая ощерившегося в нахальноватой ухмылке Пашку.

— Но и чо тут такова?! — не унимался задетый за живое, въедливый, пылкий — как порох — Пашка.

— А то само. Не вяжись. Помолчи в тряпочку. Я тебя маленько поране на божий свет родился! — еще посуровее оговаривал его дед. — Не егози. Не пидай. Слушай, што стары люди сказывают. Заруби на курносом носу!.. Вот — к примеру сказать — сам Лев-то Толстой с твоим тятей — два сапога не пара. Твой-ет тятя, как и я, всего-навсего — нижний чин. Заурядстанишник. А тама — граф! Их сиятельство! Это тебе — повыше титулом любого генерал-майора от инфантерии!.. Тама барин — дай бог! Столбовой. Наивысшее высокоблагородье. Именитый! А толк в этой самой сохе понимал не хуже нашего брата — извечного хлебороба. Понял ты али — тупо?!

— Ну и потом — чо?! — вылупив на деда надменные с искоркой — цыганские шары, допытывался несколько озадаченный тут Пашка.

— Потом — то само. Што ему ничо было нипочем, опять же сказать тебе к примеру. Никого не признавал. Ни попов. Ни губернаторов. Ни архимандритов. К тому же — плюс на минус — самого государь-императора на всю нашу Русску империю в письменном виде выстрамил!

— Ух ты, язви его, аж самого царя?!— пуча округлившиеся глаза на деда, выругивался в изумлении позабывший о присутствии старших Пашка.

— Вот так. Страх подумать!.. Самого самодержца всея Руси. Богопомазанника, как говорится. Не робел — понужал в хвост и в гриву!..

— Кто это тебе сказывал?— продолжал тормозить старика возбужденный сказом его до предела Пашка.

— Не на базаре говорено — перечитано было немало про этого тульского мужика с графским титулом. С печатного слова. В книжках. Кем перечитано, спросите? Да опять же — нами. С кумом Арефьем!.. Граф-то был — понятное дело — родовой. Без придурков. Натуральный. Это — так точно! Только без куражу. Без амбиции. Земляная душа. Обоюдный какой-то. Свойственный!.. И хоть он там, сказывают, тыщи всяких книг сочинил, а земных, житейских делов не чурался. Сам себя — своими руками — обихаживал. Всю свою одежду — штаны, скажем, рубахи, подштанники — собственноручно шил. И чеботарил. И шорничал. Дратву сучил. Сапоги яловые тачал. Хомуты опойковой кожей обтягивал. Сбрую ворванью смазывал. Крыши деревенским вдовам соломой перекрывал. А на покосе — с косой — любого за пояс затыкал. И потом — босиком на своем веку вдоволь намаршировался!..

— Сапоги тачал, а обуться было не в че?!— не сдержавшись, снова подкидывал деду язвительный вопрос Пашка.

— Не в сапогах суть. Не суйся!.. А главное дело, пахать — хлебом не корми — до страсти любил. И только одной ей — сошкой-матушкой! Пашешь, поговаривал, и ног под собой от счастья не чуешь. И на душе — праздник. И в голове — светло. И кровь в жилах — как смолоду — играт. Весело переливатса. Будоражит тебя. Хмелит. Полируется!.. Вот тебе и на — барин. Знать. Наивысше сословье. Граф. Ваше сиятельство!

Тут, бывало, не в шутку разволновавшись за таким разговором с нами, дедушка вдруг умолкал. Наглухо замыкался. Тотчас же, как бы несколько отдаляясь от нас, прятался в душевные свои потемки.

Умолкал — следом за ним — и Пашка. Хмурился. Сопел. Ерзал — туды-сюды на заднице. Не знал, с какой стороны подъехать теперь к старику, чтобы воротить его к привычному для нас — к доброжелательному, ласковому к нам — расположению. Без такого светоносного дедушкиного настроения было малоуютно всем нам — Пашке, Троньке и мне — сиживать на пригретых весенним солнышком задворках. Вблизи пряной прошлогодней полыни. Возле заветной дедушкиной сохи. На теплой, сухой земле.

Правда, старик быстро приходил в себя. И точно очнувшись от минутного забытья, снова исподволь, как бы размышляя вслух, про себя, доверительно продолжал овейанные воспоминаниями о прожитой жизни, спокойные, рассудительные свои речи.

— Да-аа. Вот так-то, ребяташки!..— размышлял и далее вслух дедушка, искоса поглядывая отуманенными старческими глазами то на нас, присмиривших вокруг него ребятишек, то на обреченную на вечное забвение немудрую свою сошку, надруганно вышвырнутую с пашни своевольными его

сыновьями — за полной ее по нынешним временам непригодностью — на задворки. В чертополох. В полынь. В белену.— Да-аа, мои сударики!— продолжал горькую исповедь старик.— Вот и граф-то тот — пробил и его час — отпахался. Отчеботарил. Отогрызался!.. Да и мы — таки же бывалы пахаря и чеботари — так же отчертомелили на своем веку. Отша-башничали. Отстрадавались. И мы — не на ярманку, с ярманки едем!..

— С ярманки? А с какой, дедушка?!— допытывался принимавший все как есть за чистую монету, бесхитростный наш лопух — Тронька.

— С безымянной, внук. С отшумевшей. С дальней!..— отвечал старик — в тон лопуху — с маловеселой усмешкой.— Отбарышничали и мы там на своем веку. Отхарчевничали. Отбразничали. Отторговались — без Обменяли молоды свои годы на стариковские выгоды. Так себе. Ваш на баш!.. И только вот один кум Арефий у нас ишо пока в силе. Никому не покорный. При своем уме. Со своим норовом. Малоподатливый на приманку. Обоюдный. Двужильный. Дошлый. Въедливый. Лить не вылить — нашенский Лев Толстой! Только книжек не сочинят. А так — во всем под стать покойному графу из Тульской губернии. Такой же резвый как и их сиятельство — грамотей на всю нашу Горьку линию. Да и потом, куда ни хвати, на все руки мастер!

— А пономарь-то — ух, я те дам!— с лету подхватывал стариковское славословие в честь Арефия, крутнув с веселым отчаянием наголо стриженной головой, захлебывавшийся от восторга слюной Пашка.— Слыхали, как он во все колокола на нашей колокольне кадсель в нонешнюю пасху наяривал?! С переборами! С поддегом!.. А девки с холостыми ребятами — на площади, у качелей — все шесть фигур под его музыку сплясали! Вот вам, Христос воскресе, не вру!— клятвенно крестился, лупя на деда — как на икону — бесстыжие свои белки, Пашка.

— Было дело...— подтверждал кивком дедушка.— Озорничал. И не раз... Выпивши был потому што. За эти его грехи, бывало, перепало ему на пряники от самого владыки. От архирея всея Омской епархии. Епитимью на ево накладывал. Соборовал нашего пономаря — по всем семерым канонам! Как — протопопа Аввакума!

— А епитимья — это чо тако?!— как с печки тут падал со своим скоропалительным вопросом ничего — как видно — не понимавший на сей раз в таком темном деле даже сам наш всезнающий Пашка.

— Кара така. За грехи. Архирейский приговор — строже некуда!

— Чо — арестански роты?! Али ишо хуже — острог?!

— Возмездие — по духовному артикулу. Девяносто земных поклонов — дважды в каждый у бога день. На коленях. Перед алтарем. У царских врат. От субботы до субботы — скрозь всю великопостну неделю. Один раз — натошак — с утра. Вдругорядь — не в большой сытости — вечером. Навольнодумствовал — лупи, сукин сын, об пол лбом. Кайся. Винись. Набивай шишки!.. Вот это чо. Не поминальна рисова кашка с изюмом в Родительский день — на Фоминой неделе!

— И он — чо?! Каялся?— вдруг ни с того ни с сего свирепел на наших глазах, наседая на дедушку точно готовый к кулачному бою с ним, осатаневший Пашка.

— Покаялся он тебе — разевай рот поширше! Не на такова ишо грешника владыко нарвался!

— Но и чо?!

— Да ничо...

— А архирей потом чо?!

— И архирей ничо...

— Вот язви те!..

— Это ково?

— Владыку тово...

— За чо?

— А так. За чо надо!.. К хорошему человеку вяжется потому што!

— Вязатца — привязывался. И не единожды. Да ишо как! Один раз едва было не отлучил кума от церкви. Как отлучил святейший Синод — сызнава к слову пришлось — тово жа графа Толстова!

— А графа — за чо?!

— За то само, за што и Арефья. За непокорность. За вольнодумство. За ослушание. А тут ишо — плюс на минус — за ту же саму пасхальну твою кадрель — с переборами!.. Ну, тут мы, правда, всем станишным нашим обчеством — стеной за кума поднялись. Приговор на гербовой гумаге — все как один — с маху подписали!

— Опять руль двадцать пять — приговор! Кому?! За чо?!— всплескивая ладошками, восклицал в изумлении Пашка.

— Ух жа и бестолочь ты, погляжу на тебя!— корил нетерпеливого выскочку дедушка.

— Толк-от есь, да не втолкан весь!— огрызался Пашка поавшимся тут ему на язык услышанным однажды от старших малопонятным ему присловьем.

— То-то и оно, што не втолкан весь!..— говорил с хитровой усмешкой дедушка.— Приговор — за Арефья. Мы на поруки, под свою опеку станишного об-чества пономаря брали!

— Но и чо?!

— Ничо. Укрепил наши подписи под приговором станишный атаман печатью. И отправилась наша гумага с вершным нарочным — прямым маршем — в Омск! В пакетах с двойной адресью. Один пакет — под сургучом — генерал-губернатору. Другой — владыке!

— А тут чо?!

— А ничо.

— Как ничо?

— Так. Ничо. Потому што и тут владыко на бобах перед нашим пономарем очудился!..

— А это пошто?!

— А пото што генерал-губернатор от инфантерии

приговор наш принял в резон. Уважил станишно общество. И в угоду нам — восподам старикам — владыку утихомирил. Унял. Но а тот потом, сказывали, маленько по-ерепенился — для куражу перед генералом от инфантерии — да и начисто простил кума!

— То-то, язви ево!..— вполголоса, чтобы не расслышал дед, восклицал тут, почему-то указуя на нас с Тронькой своим черным и острым — как у дьявола — перстом, разом обмякнувший Пашка.

— Ишо бы не то-то!— поддакивал дедушка.— А ку-ды там было деваться владыке, коли пресновский звонарь — всем приходам архирейской епархии на зависть! Цены такому звонарю — на тыщу верст окрест — нету! Как ударит он разом, с размаху во все колокола, земля из-под ног поплывет. Не звон — трубны звуки архангелов!

— Тятя сказывал,— опять ввязывался в разговор Пашка,— будто деда Арефья аж на соборну колокольню пономарить в город Атбасар сманивали. Хороши деньги давали. И златы горы и реки вина, говорит, за это само ему сулили.

— Правду сказывал тятя. Сманивали. И суливали — немало,— подтверждал дедушка.— Да и было за чо сулить. Ведь он не одну только твою кадрель с переборами может спяна во все колокола сыграть. Это уж — так точно. Это он — назло владыке. Из озорства. С полупьяного полудурья... Зато на духовном звоне поднаторел он у нас — похлеще всякой кадрели! Тут он набил руку. Навострился — до страсти. И все самоуком. Талан!.. Хошь, тебе «Достойну яко воистину» — как регент по нотам — нараспев отзвонит. Хошь, «Спаси, господи, люди твоя» без запинки отбрякат... Нет уж, отец владыко, нашенского пономаря никому сроду не перепомарить! А нашего чеботаря никому не перечеботарить!— подбрасывал тут старику и свою скороговорку озаренный озорной усмешкой настырный Пашка.

— На дворе трава, на траве дрова!— радостно восклицал — как палил из фузеи — встрепенувшийся, словно спросонок, Тронька.

— Из-под топота копыт пыль по полю летит!— не отставал от внезапно вспыхнувшего меж нами словесного состязания в скороговорках даже и я. И тут, окрыленный жаром нахлынувшего вдруг на него азарта, Пашка, как бы забыв о присутствии дедушки, мигом подключил нас с Тронькой вне всякой связи с предыдущим разговором к иной нашей, уже ведомой нам — по его же науке — потешной игре. Тоже словесной. С нелепыми бойкими прибаутками. Мы — я и Тронька — так были заранее вымуштрованы в этой игре нашим свирепым наставником — Пашкой, что роли свои знали назубок...

ОТМЕРЦАВШИЕ МАРЕВА

Познал я глас иных желаний.
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

А. Пушкин

Над степью плыл август — венец сенокосной поры. Старшие братья мои — Иван с Кириллом — дометывали последний наш стог. Обнаженные по пояс, чернокожие от загара, все в поту, в паутах, они расторопно работали деревянными вилами-тройчатками и ловко — одним лихим махом — закидывали в поднебесную высь целые копны медового лугового сена.

А отец стоял во весь рост на юртообразном стогу, с лету подхватывая цепкими грабельцами проворную сыновью подачу, по-хозяйски, домовито охорашивая при этом, закругляя, верша тучный, похожий на слитый из темно-зеленой меди колокол, красавец-стог.

Я ж, расквитавшись с веселой своей работой — подвозкой волокушами на трехлетнем нашем жеребчике сенных копен к стогам, любовался теперь от нечего делать богатырской хваткой и завидной ловкостью вертких, как дьяволы, моих братьев и по-молодому приткой подвижностью мастерски вершившего стог отца. Перевалило за полдень. Пекло.

Было дымчатым, полумглистым — от жаркого ветра — небо, и по черным, как вороново крыло, троеным парам, по торным скотопрогонным дорогам металась из стороны в сторону с яростной сатанинской спесью упругие траурные жгуты смерчей. И быть может, от этого задымленного знойным сумраком неба и от этих, похожих на черное пламя беснующихся там и сям смерчей,— от всего этого и веяло в этот день той необъяснимой, подспудной тревогой, какой наполнен был этот сумный августовский полдень.

— Глядите, глядите-ко, вер-ршный!— вдруг панически вскрикнул Иван, поспешно бросая вонзенные в копну тройчатки.

Да. По скотопрогонному тракту, пролежавшему в полуверсте от наших сенокосных паев, мчался на полном карьере всадник в походной казачьей форме. А у острия устремленной ввысь его черностволой пики пылало жаркое пламя мятежно бушевавшего на ветру флага.

Не отрывая глаз от гонца, и отец и оба брата моих остолбенело молчали. И все — в том числе и я — уже хорошо знали, что означал этот трепетный жаркий флаг на острие грозной казачьей пики. А означать он мог — как это водилось и издревле — только одну роковую беду. Всеобщую мобилизацию в линейных станицах. Войну!

Всего около трех месяцев тому назад — в начале мая 1914 года — проводила наша семья в полк на действительную службу среднего из братьев — Дмитрия. И проводы эти, как говорил отец, заехали нашему дому в копеечку. Только за одного строевого коня отвалено было полета рублей ассигнациями. Деньги по тем временам немалые. Стоимость двух добротных рабочих лошадей.

Что и говорить, хлопотливыми, накладными были для станичных старожилков проводы своих сынов в полк. Иные из малоимущих жителей залазили при этом в такие долги, что порой не вылезали из них за всю пятилетнюю полковую службу сына.

Но одно дело проводить в полк казака в мирное время, другое — отправлять кровного сына на далекие поля кровавых побоищ с поднявшим меч на Россию иноземным врагом!

Оттого-то десять суток кряду, пока готовились к походу попавшие под мобилизацию казаки, и не затихало в станицах бушевавшее, как пожар, народное горе. Стоном стонала земля от горьких рекрутских песен. От воинственных воплей — противу германца — храбрых хмельных рубак. От горестных, повитых печалью, материнских причетов. От пролитых в ночи втихомолку жарких слез молоденьких женок и покидаемых женихами нареченных невест...

И тут — для старшего из своих сыновей — отец, конечно, не поскупился. Не мешкая, запустил с ходу в расход трех из семи наших дойных коров. Дюжину овец.

Годовой запас — про черный день — пшеницы из амбарных сусеков. И все это ушло почти за полцены нагрывшим, как вороны, со всех сторон тороватым ирбитским барышникам и фартовым, пронырливым, говорливым шадринским прасолам.

Между тем цены на строевых коней в тучных, теку как реки, степных табунах тотчас же взыграли. И за белого крылатого, как лебедь, иноходца с буйным пепельным хвостом и такой же гривой, с ходу облюбованного Иваном, отец заплатил на этот раз втридорога. Не торгуясь.

По мобилизационному приказу Наказного атамана Степного края соединение двух этих полков — перед отправкой на фронт — должно было произойти в уездном городе Кокчетаве Акмолинской губернии.

И вот час пробил. На одиннадцатом дне уже бушующей где-то за тридевять земель войны провожали мы мобилизованных казаков к месту их полковых сборов.

Все тут смешалось в горестный час расставания. Глухой топот конских копыт. И яростное, тревожное ржание приплясывающих под всадниками коней, зачужавших дальнюю дорогу. Бранный перезвон шпор и стремян. И лязганье

стальных удил, грызомых нетерпеливыми строевиками. Безутешные материнские слезы. И воинственные походные песни уходящих в глубь целинных степей — в слитном конном строю — ощетиленных пиками эшелонов...

Непривычно тихо и сиротливо стало в нашем доме после покинувших его старших моих братьев. Такой же притихшей, притаившейся, полупустынной выглядела теперь и — вчера еще оживленная, веселая, шумная и многолюдная — древняя наша станица. Умолкли озорные, разговорчивые саратовские гармоники с колокольчиками. Не слышно стало по коротким летним вечерам хороводных девичьих песен. И еще печальнее, казалось, были отныне молчаливые, прикрытые ковыльной проседью степи.

Поддавшись волей-неволей такой всеобщей подавленности и в нашей семье и в станице, затих душою и я. Меня даже не манило в эти дни на ежевечерние наши встречи с Пашкой и Тронькой, и я отсиживался в круглом одиночестве в тихом нашем доме или же в каком-нибудь укромном потайном закутке просторного нашего двора с его деревянными заплотами, амбарами, навесами и завознями.

И вдруг сердце мое озарилось нечаянной радостью. Как-то поутру — дней через пять после проводов мобилизованных казаков — услышал я от отца, что они с мамой решили поехать в город Кокчетав — на последнее, быть может, как говорила с горьким вздохом мама, свидание с Иваном. Но самое главное — они брали с собой и меня!

И тут радостям, счастью, восторгам моим не было и предела. Еще бы! Отправиться вместе с родителями в бог весть какие дальние-предальные края — через глухие, таинственные казахские степи — и потом увидеть где-то там своими глазами некое неведомое, необыкновенное, загадочное чудо, имя которому — город!

Дух перехватывало от этой вдруг свалившейся на меня как снег на голову новости. И я, по-куропашечьи востепенувшись, полетел на упругих крыльях к закадычным своим дружкам-приятелям — к Пашке с Тронькой. Не терпелось захлеб похвастаться — на зависть им обоим — таким выпавшим на мою долю счастьем, похожим на сон.

Однако оба они — и Пашка и Тронька — с разлету огорошили меня еще большей радостью. Оказалось, что и они оба — тоже с их отцами и матерями — едут в город Кокчетав. И тоже для свидания со своими попавшими под мобилизацию старшими братьями — ровесниками нашего Ивана. И едут вместе с нами. Завтра. Чуть свет.

Обо всем этом, оказывается, договорились — по соседскому делу — отцы наши еще в канун нынешнего дня. Я же узнал про такое событие последним...

— Проснулся! — сказал про меня с презрительной усмешкой Пашка. — Мы с Тронькой ишо вчерася вечером все наскрозь знали. Понял? Ух, вррежу!.. Но тут же Пашка, обнажая свои частые, ослепительно светлые зубы, засмеялся уже — миролюбиво, доброжелательно. И легонько толкнул меня в плечо ладошкой.

— Лады, Ваня. Мир на земле. В человецех благоволение. Аминь!..— сказал, шутливо перекрестив меня, Пашка.— А теперь — марш все по домам. Тебе ж ведь тоже надо наспех в дорогу собираться. Не забудь только свою фуражку с кокардой набекрень одеть да сапоги хорошенько ваксой начистить. Не куда-нибудь — в город Кокчетав едешь! А в городе, знашь, все как на полном параде! Тама — не как у нас здесь — по струнке ходют. Левый-правый. Ать-два. Туды-сюды. Туды-сюды...

А главное дело, шлындают, язви их, не по земле — по тратуварам! Понял?

Нет я не понял.

Не понял, видать, и Тронька. Потому что робко Спросил

—А тратувары - это что такое, Паша?

— Деревянные дороги из тесу вдоль улки. Вот это «о» — категорично ответил Паша. И тут же разъяснил:— Потому што в городе без этих самых тратуваров ног не вытащишь — така тама грязишша!

Посмотрев на нас с Тронькой то ли с сожалением, то ли с напускным презрением своими быстрыми, мерцающими глазами, Пашка затем добавил сквозь зубы:

— Ух и неучи! Ух и олухи, язви вас! Ух, я вам как-нибудь и врещу!..

—Да мы в городе-то ишо не бывали...— пролепетал я как бы в слабое оправдание своего невежества, попутно имея, конечно, в виду и Троньку.

А между тем оба мы — и я, и Тронька — хорошо знали о том, что город Кокчетав Пашка — так же, как и мы, несчастные, — не то чтобы там наяву, а и во сне-то вряд ли хоть раз видел! Однако же вел он себя перед нами сию минуту так, будто только что воротился вместе с нашими станичными лейб-гвардейцами прямым маршем из Санкт-Петербурга!

— А церквей в Кокчетаве много, Паша?— вдруг спросил ни с того ни с сего Тронька.

— Пять храмов. Один собор. Пятиглавый. Плюс на минус — тюрьма белокаменная. Сорок три ветряка. Парова крупчатошна мельница. Татарска мечеть. Архиерей. Семеро кабаков с казенными целовальниками. Пожарная каланча до небес — на тышшу верст скрозь вокруг видно! Прогимназия. А базар в городе — настояшша Куяндинская ярмарка!..— начисто перечеркнул нас с Тронькой крест-накрест пулеметной очередью Пашка.

Тут у нас и совсем языки присохли. И Пашка, воочию убедившись в этом, с миром отпустил нас домой, не преминув напутственно пригрозить вдогонку:

— Да, спокойной ночи, шалопаи!.. Дрыхнуть-дрыхнуть. Да не засыпайте. Почашше вздрагивайте. А то продерете утром шары, а ваших тятей — Митьками звали! Укотим без вас в неизвестну даль спозаранку. По гладенькой дорожке. Со свистом!..

Я, разумеется, был твердо уверен в том, что ни отец, ни мама без меня не уедут, коли уж сами — я ж не напрашивался!— посулились взять меня с собой.

Никогда, конечно, не уехал бы без нас с Тронькой и Пашка в такую радостную, как редкий праздник, дорогу. Это я тоже знал назубок.

Однако сон мой был в эту ночь малостойким, чутким на побудку, настороженным, тревожным. Ночевал я — как и всегда в летнюю пору — на любимом привычном месте. Под дерновым навесом. В бесколесном одре вековой дедушкиной телеги. И, проснувшись чуть свет, я увидел во дворе и отца и маму, занятых каждый своим делом.

Мама — я видел ее через настежь распахнутые створчатые окошки нашей прижавшейся к пятистенному дому земляной избушки — ставила на стол бурно бурлящий, ярко пылающий медью самовар. Отец деловито смазывал стальные оси и колесные втулки стоявшего посреди ограды легкового ходка с продолговатым ракиновым коробком на дрожках.

Ага. Слава богу, вовремя я проснулся. И оглядевшись туманными спросонок глазами вокруг, сразу же убедился в том, что наши действительно собираются нынче в дорогу.

Проворно выпрыгнув из тележного одра, я, еще полусобранный, полусонный, стал переминаясь с ноги на ногу возле хлопотавшего вокруг ходка отца, делая вид, что меня шибко привлекает эта смазка вязкой, тягучей мазью шлифованных осей и медных колесных втулок. На самом же деле томило и жгло в сию минуту одно неодолимое желание. Не терпелось узнать, а не передумал ли за ночь отец брать меня с собой в дорогу? Передумал! Об этом было так страшно сейчас думать, что у меня умирало сердце, холодело в груди!..

— Ого, проснулся?— с напускным удивлением воскликнул, заметив меня, отец.

— Ну. Выспался...

— Слава богу... Тогда — не крутись. Беги. Умывайся. Оболокайся. Скоро запрягать. Вот попьем чайку с горячими шанежками, и — благословяся — в дорогу!..

Остолбнев, опешив на какое-то мгновение от новой светлой волны опять нахлынувшего на меня счастья,— значит, все-таки еду!— я ринулся затем со всех ног исполнять отцовские указы.

Пулей — умылся. Пулей — оделся. Еще проворнее — вмиг — обул начищенные с вечера ваксой до зеркального блеска шагреневые сапоги. И первым из всей нашей семьи красовался за столом, накрытым к завтраку. С Но как хорошему коню, получившему дорогу, мне не шибко-то пилося и елось в это раннее, на редкость погожее августовское утро. Нет, несмотря ни на что, былая душевная настороженность так и не покидала меня. Потому что я и сейчас еще опасался, как бы все-таки что-нибудь да и не помешало в последнюю минуту этому — первому в моей жизни — столь бесконечно далекому, столь заманчивому, столь увлекательному путешествию! Но вот чаепитие закончилось. Лошади были запряжены. Степенный мерин гнедой масти — в корню. Шустрый, надменный, пугливый трехлеток Рыжка — в пристяжке. В ракиновом коробке ходка были уже загодя уложены все дорожные припасы. А мы, собравшись всей семьей в горнице, с минуту

посидели — перед дальней дорогой — в полном безмолвии. Затем, поднявшись на ноги, троекратно — и тоже молча — перекрестились на передний угол с тускло мерцавшими окладистой медью иконами.

И вот, наконец распрощавшись — уже посреди двора — с оставшимися домовничать без нас нашими домочадцами, все мы втроем — отец, мама и я — уселись половчее в уютный ходок. И тронулись с места — поехали!..

На выезде из станицы — за земляными валами древней крепости — нас уже поджидали наши спутники. Отцы и матери моих дружков — Троньки с Пашкой. Они тоже отправлялись в путь на таких же легковых дрожках, как и у нас, и тоже запряженных парами лошадей — независимыми, стойкими коренниками и юными, самоуверенными пристяжными...

И вот только теперь, когда привелось мне за жизнь немало поколесить по белому свету, могу я с полным правом утверждать, что самым дивным и самым далеким было это первое в моей жизни путешествие — поездка в неведомый и загадочный город Кокчетав.

А ехали мы не день и не два — целую вечность. И дорога эта была для меня волшебным, радостным открытием иного, нового мира!

Стояла погожая, предвещавшая близкое бабье лето предосенняя золотая пора. И великие, тихие степи текли и текли с утра до вечера навстречу нашим рысистым парным запряжкам. И не было, не было ни конца, ни края этому пленительному царству матово-серебристого, зыбкого ковыльного моря. Царству полынного аромата. Простора. Покоя. Воли. Горланного орлиного клекота, трубного — на заре — лебязьего переклика. Печального, тихого звона мечей черноперой осоки и потайного вкрадчивого шороха дремучих камышей по берегам позолотевших от заката озер...

Первую ночевку в этой дороге обрели мы вблизи казахского аула — полутора десятка разношерстных, то черных, словно обуглившихся, то ослепительно белых, как лебединые крылья, колоколообразных войлочных юрт, вполукруг разместившихся на высоком крутояром берегу невеликого, густо заросшего кугой и чаканом озера.

Я впервые увидел кочевнический аул, и мне пришлось по душе привольная летняя жизнь исконных наших станичных соседей — мирных степных кочевников. Все, решительно все было здесь внове для меня. Все — неожиданно. Ярко. Броско. Необыкновенно. Непривычно. Диковато. Полузагадочно.

Из былых отцовских рассказов я уже знал о том, как он хаживал в свои молодые годы в старших гуртоправах у пресновских скотопромышленников — сопровождал гурты рогатого скота и конские косяки по знаменитым в ту пору на всю Сибирь степным ярмаркам. В Куяндах. В Каркаралах. В Атбасаре. В Баянауле. Вдоль и поперек исколесил он тогда все глубинные, полудикие казахские степи, находя в непогожие дни и ночи приют и кров в любой из юрт встречавшихся на его пути аулов.

Вот отчего теперь — в дни нашего дивного путешествия — почти в каждом встречном ауле находились гостеприимные отцовские тамыры — дружки. По вековому неписаному закону степи они с непритворной охотой

привечали и потчевали нас в своих восхитительных — прохладных в зной и теплых в непогодь — уютных юртах.

В отличку от отцов Троньки с Пашкой мой отец очень хорошо разговаривал по-казахски. И это обстоятельство как бы возвышало в глазах аульных жителей и нас с мамой.

Тронька же с Пашкой просто умирали от зависти, наглядно убеждаясь за долгую нашу дорогу в том, каким особым расположением — наравне с моими родителями — одаривали меня подчас гостеприимные хозяева той или иной юрты.

Пашка же — даже и не поймешь как, то ли из уважения, то ли из завистливого презрения ко мне — будто перестал меня замечать и почти не придирался, не вязался ко мне, не грозился походя — как водилось до этой нашей поездки — врезать мне безо всякого к тому повода. Зато он вдоволь отсыпался теперь на малозащищенном Троньке, то и дело привязываясь к нему по каждому пустяку, явно вызывая его на взаимную потасовку, на драку.

В эту первую в дороге нашу ночевку при придорожном ауле угощались мы в белой юрте главы аульного рода — тучного, угрюмого с виду белобородого аксакала — Торсана.

Внутреннее убранство юрты Торсана огорошило, ошеломило меня — с ходу, с порогу. Да что там — ошеломило! Привело в трепет невиданной и неслыханной мной доселе сказочной роскошью. Каким-то неправдоподобным, праздничным великолепием. Неистовым буйством красок. Нарядными, окованными, сверкающими самоварной медью сундуками. Многоцветными слоями стеганых шелковых одеял на железной кровати с ослепительными никелированными спинками и набалдашниками. Букетами бархатных, расшитых золотыми или серебряными позументами мужских чапанов и женских камзолов. Пышными и яркими — как полные цветов и трав июльские лесные поляны — коврами, украшавшими круглые стены этого, казалось, невесомого, воздушного жилища.

Потчевались мы за дастарханом — оранжевой льняной скатертью, постланной перед нами прямо на покрытом узорным войлоком полу обширной юрты. Сперва мы пили из увесистых фарфоровых пиал крепкий, сдобренный сливками любимый степными жителями кирпичный, плиточный чай вприкуску с колотым сахаром и с румяными, круглыми, как грецкие орехи, баурсаками. Затем — ближе к позднему летнему вечеру — на дастархан было подано огромное, похожее на стиральное корыто, деревянное блюдо с грудой дымящейся, только что сваренной в казане — под открытым небом — ароматной баранины. И я был в восторге от того, что это необыкновенное степное угощение здесь было дозволено запросто — проворно и расторопно — хватать из дымящегося корыта голыми руками. То был знаменитый бесбармак — коронное национальное блюдо древних кочевников.

Вдосталь насытившись за щедрым дастарханом разными разностями у приветливых аульных хлебосолов, мы — я, Тронька и Пашка — юрко вынырнули, как те сурки из норы, наружу из юрты — на волю.

День меркнул.

Пахло дымом кизячных костров. Кобыльим молоком. Овечьим пометом. Теплой дорожной пылью. Перьями дикой озерной птицы. Коровьей жвачкой. Собаками. Где-то совсем по соседству с аулом били отбой минувшему дню хоронившиеся в ковыльных дебрях перепела.

Неподалеку от царственно белой юрты Торсана мы вдруг заметили двух казашат, играющих на высоком приозерном яру в бабки.

— Хотите, я их в одну секунду сейчас обчищу?! Хотите?— угрожающе спросил нас с Тронькой помрачневший от решимости Пашка.

— Как это так — обчищу?— озадаченно спросил я, не совсем понимая вдруг засвирепевшего Пашку.

— А вот так. Вот этим самым паечком! До нитки враз их обоих на ваших глазах раздену!— почти прорычал Пашка, показывая нам извлеченную из шароварного кармана большую конскую бабку. И тут же добавил:— Не зарьтесь зря-то! Панок — не простой потому што. Ок у меня — налитой! Со свинцом внутри, Поняли или тупо?..

— Вот это да-а!..— восхитился я, взвешивая на своей ладошке налитую расплавленным свинцом Пашкину бабку.

— Я с имя — хоть это и ихний аул — шибко шыр-катца тут не стану! Мне бара берь, говоря по-ихнему, что к чему!— сказал Пашка, кивнув в сторону увлеченных игрой казашат.— Я чо с имя изделаю сейчас?— продолжал, все более и более ожесточаясь, Пашка.— Я, язви те мать, с десяти шагов ка-ак врр-ррежу вот этим самым паночком — весь их кон вдребезги! А вы тут будьте у меня под рукой. На подхвате. Штобы пулей все ихние сбиты бабки собрать. Все. До единой! А разинете рот, я и перед вами в долгу не буду... Пошли. Аида за мной. Марш!— скомандовал — как отрубил — Пашка. И мы покорно поплелись за нашим вожаком в сторону тоже уже успевших заметить нас насторожившихся казахских ребятишек. Приблизившись к незнакомцам на два-три шага, мы замерли — как в строю по команде смирно — и какое-то время молча с угрюмой подозрительностью, пытливо, изучающе приглядывались друг к другу.

Один из двух казашат выглядел рыхловатым, не по возрасту раздавшимся вширь оборвышем-увальнем. В драных-передраных чембаришках — овчинных, внутрь шерстью штанишках. В латаной-перелатаной бязевой рубашонке с напрочь оторванным по локоть левым рукавом.

Другой из этих степных дружков-тамыров был одет поопрятнее своего — похоже — почти что погодка. Этот был в застиранной алой сатиновой рубахе. В добротных — из черного плюша — шароваришках, засученных выше коленок. Этот с виду был поподжаристей, по-подсобранней, порезвее своего дружка, да и из юрты — видать — совсем уже иного достатка... Оба шустроглазых степных парнишки были наголо стрижены. С почти обуглившимися от загара лицами. Босиком.

— Здравья желаю!— рявкнул — как урядник перед строем — Пашка, картинно отдавая при этом честь мальчишкам молодцевато подкинутой к виску ладошкой и бодро пристукнувшими друг об дружку сапожными подборами.

Но в ответ на такое парадное Пашкино приветствие увальень с оторванным по локоть рукавом вдруг разом сразил всех нас троих начисто — бойко и весело выматерившись по-русски!

Пашка — как равно и мы с Тронькой — на секунду оторопел, опешил. Но за словом в карман не полез. В долгу не остался. Он хоть там через пятое на десятое, а по-ихнему толмачил. И потому тут же, с ходу понужнул задиру — и тоже с самой верхней полки — на родном наречии этих невинных детей степи...

Итак — мы были квиты!

Тут мы все снова умолкли. Стояли, переминаясь с ноги на ногу. Посапывали носами. Кряхтели. Прикрякивали. И опять — в высшей степени подозрительно присматривались друг к другу.

Вдруг Пашка, нацелив перст на толстяка, спросил его по-казахски — на сей раз уже иным, доверительным, миролюбивым тоном:

— Сенин атын ким? Короче, как тебя зовут, если спросить по-русски?

Мен — Сабит! — ткнув себя в грудь пальцем, живо отозвался тот. И тут же, кивнув на дружка в бархатных шароваришках, назвал и его имя: — Ол — Габит!

— Жаксы! Хорошо вас зовут. Складно. Сабит-га-бит!.. — похвалил их Пашка. — А меня, это значит я — Павел! Пашка! Белесый ба? Поняли у меня, где середка, где половинка?

Тут Пашка рассмеялся, миролюбиво обнажив свои иссиня-белые, как рафинад, цыганские зубы и с хитрецей подмигнул тоже повеселевшим, заулыбавшимся казахским мальчишкам.

— А эти вот, — показывая пальцем на нас с Тронькой, продолжал Пашка, — еки бала, двое ребятишек — мои дружки. Тамыры — по-вашенски. Один Тронька. Другой — Ванька. Все мы — пресновские казаки. Беле-сын? Ясно? — заключил свою речь Пашка уже по-русски.

— Берге ль куресемис! — вдруг заорал, как с печки упав, назвавшийся Сабитом парнишка.

— Это он чо к чему? — пугливо спросил я Пашку.

— Бороться с нами вяжется, язва!..

— Но и чо потом? Подумаешь там, задавало!.. Я же его в один секунд угзоздаю. Замертво. На обои лопатки! — скороговоркой выпалил я, расхрабрившись.

— А ежели в драку полезут? — напомнил осторожный Тронька.

— Но и что? Нас же трое. А трое — не один, хоть телегу, да не отдадим! — возразил я Троньке довольно решительно и агрессивно.

— Жок! Жок! Жок! — с жестокой решимостью заорал на Сабита Пашка. — Никаких тама бергель куресемис!.. Это потом. После. А перво-наперво — оданда асык ойнаик. Сначала давайте сыграем в бабки.

Затем, выяснив на смешанном русско-казахском языке, что у ребятишек было в заначке двадцать пять бабок, Пашка предложил им свои условия игры. Все их наличные двадцать пять бабок должны быть поставлены в кон. А он — Пашка — будет бить по этому кону — не с каких-то там несчастных пяти — как это было положено по правилам извечной детской игры — а аж с пятнадцати шагов! Но ударит он по кону своим, собственным битком. И тут Пашка

показал ребятишкам извлеченный из шароварного кармана свой знаменитый, тайно залитый свинцом биток — обыкновенную с виду бабку, ничем не отличавшуюся на глаз от прочих игорных ее товаров.

Поторговавшись — для хуражу — с Пашкой, степные игроки наконец приняли довольно рискованные, но весьма соблазнительные его условия.

А они были таковы. Ежели Пашка с одного удара начисто сметет своим битком всю строевую шеренгу бабок? мальчишки остаются тогда в разгромном проигрыше и все их богатство переходит в полную собственность победителя. Ежели хоть одна из бабок останется стоять не задетой битком, то в таком случае Пашка почтет себя в проигрыше и сию же секунду безоговорочно выплачивает неустойку — четвертак серебром — по копейке за каждую бабку! Когда же торг завершился и стороны, ударив по рукам, пришли, так сказать, к обоюдному соглашению, — Пашка тоже поставил на кон обусловленную игрою денежную сумму. Сорвав со своей башки форменную фуражку, он бросил ее наземь — рядом с выстроившимся в шеренгу коном бабок и небрежно выкинул на ее тулю две серебряных монеты — гривенник с пятиалтынным.

И игра занялась.

Парнишка, назвавшийся Сабитом, не спеша, стараясь ступать как можно шире — отмерил от кона пятнадцать обусловленных для боя по кону шагов и воткнул на этом месте жиденский ракитовый прутик.

Все мы — я, Тронька и наши игровые соперники Сабит с Габитом — насторожились. Наглухо замкнулись. Как там говорится, — ушли в себя. Потому что наступал самый драматический момент рискованной нашей игры — удар Пашки!

И он наступил.

Заняв свою оговоренную дистанцию у воткнутого Сабитом в землю жиденского ракитового прутика, Пашка, прищутив правый глаз, чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону, долго — слишком долго! — присматривался, прицеливался к кону. Издали я все же узрел, заметил, что он, поспешно шевеля увесистыми губами, что-то там нашептывал. И только потом, позднее — после трагической этой игры — он наги с Тронькой признался, что шептал — перед ударом по кону — магические слова одного колдовского заклинания. Однако вещих слов этой черной своей магии так нам — ни за какие деньги — и не открыл...

Итак, Пашка продолжал, испытывая наше терпение, целиться. И вдруг — в эту самую драматическую минуту я увидел возле Сабита с Габитом еще пятерых их аульных погодков. Когда и откуда они тут появились — неизвестно! Все они словно из-под земли выросли и о чем-то торопливо, заговорщически переговаривались теперь на своем родном языке друг с другом.

Заметил это неожиданное происшествие и Тронька и тут же пророчески мне прокаркал:

— Это — к худу, Ваня. Теперь драки с имя нам не миновать!

— Ладно тебе... Не праздный труса. Мы с ими — и с семерыми — как пить дать — живо управимся! — самонадеянно обнадежил я не ахти какого храброго моего Друга.

Но в этот момент я увидел на мгновение озарившееся ослепительно-яростной, полужловещей улыбкой, как будто еще более почерневшее от злобной решимости лицо Пашки. И тут — как теперь бы сказали футбольные комментаторы — последовал удар по воротам!

И удар был феерическим! Мы с Тронькой просто-напросто остолбенели, когда на наших глазах весь дочиста строевой кон бабок — точно взорванный изнутри — взлетел, взбрызнул на воздух и рассыпался в разные стороны по степи.

А пока мы с Тронькой, разинув рты, в оцепенении глазели на это неправдоподобное зрелище, в оцепенении топтались с ноги на ногу на месте, аульные орлята не растерялись. Они тут же — как по команде — ринулись хватать с ходу раскиданные по степи свирепым Пашкиным ударом бабки.

Все мы — и Тронька, и Пашка, и я — не успели опомниться, а Сабит уже вмиг смел с тульи Пашкиной фуражки обе выставленные под залог серебряные монеты, и — айда улепетывать на всех парах в сторону родимого аула.

— Грабют!.. С нами бог, братцы! За мной. В атаку! — взревел не своим голосом Пашка.

Между тем проигрыш — во времени — был теперь уже за нами. И пока мы спохватились, пришли в себя, лихие аульные коршунята, изловчившись, похватав с поля боя дочиста все выбитые из кона бабки, ринулись вразброс — кто куда — по степи, и мы уже не знали, за кем из них сподручней бросаться нам в погоню.

Ближе всех — по беглой моей прикидке — из врассыпную удиравших от нас казашат оказался сцапавший серебро с Пашкиной фуражки, и я увязался за ним вдогонку.

Мне повезло.

Беглец, угодив босой ногой в сурчиную нору, упал, растянувшись плашмя. Вот тут-то я — с разбегу — и оседлал его, прочно сев верхом на его спину. Посылая поверженному ниц беглецу тумака в бока, я вопил, требуя от него возвращения похищенных им Пашкиных денег. Но он, изворачиваясь подо мною, лишь нечленораздельно мычал и матерился по-русски.

Наконец изловчившись, взыграв — как иной норовистый конь — он сбросил меня со спины наземь, а сам, вскочив на ноги, ринулся резкой иноходью к аулу.

Подбежал Пашка. На нем лица не было.

— Что тако, Паша? — испуганно спросил я, хорошо уже зная — что к чему.

— Мой же биток смел у меня из-под самого носа этот их варнак — Габит. Вот чо!.. — сказал, задыхаясь от ярости, упавшим голосом Пашка. Все было кончено. Мы потерпели на этом поле боя полное наше разгромное поражение. Неизмеримо больше всех нас пострадал, разумеется, самолюбивый

и гордый наш вожак — Пашка. Мы-то с Тронькой отделались разве посрамленным, легко ранимым нашим самолюбием — только и всего.

А Пашка — горел огнем! Он — по его же затее — вмиг превратился в круглого банкрота, разом лишившись всего наличного его капитала, целого четвертака серебром — гривенника с пятиалтынным. Но самым главным ударом, какой нанесла ему в этой нашей дороге изменчивая судьба,— это была невозвратимая утрата знаменитого его, налитого свинчаткой битка, которому — по единодушному нашему убеждению — никакой там цены в красный базарный день, конечно, не могло быть и не было!..

А теперь, забежав вперед, я только всего и скажу, что это была первая в моей жизни встреча с моими земляками, с моими друзьями, известными казахскими писателями — Габитом Мусреповым и Сабитом Мукановым!..

А наутро — чуть свет — мы, покинув гостеприимный аул и ловко одурачивших нас степных наших сверстников, снова двинулись в неблизкий путь.

И опять ни конца и ни края не было этим дремучим степям. И чем глуше, безлюднее становились безмолвствующие равнины, тем прохладнее и прозрачнее были их придорожные родниковые ручейки. Тем светлей и задумчивей выглядели их скитальческие, застенчиво прикрывшиеся камышом и ракитником речушки. Тем ослепительнее сверкали зеркальной лазурью их безмятежные, тихие озерки.

И чем пустыннее было вокруг под высоким, дышавшим вечным покоем небом, тем суровее и угрюмее взирали на божий мир в одиночестве дремавшие по сарматским и скифским курганам столетние беркуты. Тем таинственнее и печальнее пересвистывались по вечерам сурчинные орды. Тем все глуше и горше, по-бабьи рыдали над аспидно-черной от грозových туч озерной водой дурным голосом незримые выпы.

Сидя — между отцом и мамой — в ракивовом коробке нашей парной повозки, я часами прислушивался, хмурясь от яркого солнца, к слабому шороху ястребиных крыл над разомлевшими в жару травами. И сладостно было вдыхать в полудремоте дурманящий аромат полыней, донника, таволжника, богородской травы...

И чем дальше, чем более дичали от орлиного клекота, от чумного волчьего воя в ночи повитые угарным маревом степи,— тем ароматнее, тем хмельнее был во встречных аулах вольнолюбивых кочевников перебродивший в кожаных бурдюках кумыс — томительная брага. Настой из медовых пастбищных трав. На парном весеннем ветру. На расплавленном обручальном золоте утренних и вечерних майских зорь. На предрассветной июньской свежести и ночной прохладе...

Да. Даже вот и теперь, вдосталь наскитавшись по белому свету, вдоволь наплававшись,— как те серые гуси из маловеселой песни, которым пора бы уже потихоньку и ворочаться домой!..— даже и сейчас я считаю, что самым все-таки далеким и самым прекрасным путешествием в моей жизни была эта — ныне похожая уже на полузаспанное, светлое детское сновидение — веселая поездка наша из станицы Пресновской в город Кокчетав! Я дважды — туда и

обратно — перелетал через Атлантический океан. Я побывал во многих заморских странах. В Западной Европе. На Балканах. В Канаде. В Америке. И повидал — и тут и там — немало всяких чудес. Ниагарский водопад, скажем. Или ночной Бродвей Нью-Йорка. Сверкающие зеркальным стеклом, сталью и никелем небоскребы Чикаго. И парадный купол Капитолия в Вашингтоне. Неправдоподобный, сказочный средневековый город на Адриатике. Белокрылый Белград. И огни Парижа...

Это было странно. Но каждый раз, попав в чужую страну, оказавшись вдали от родины, я неизменно испытывал такое чувство, что все это было уже для меня не внове, что все это я, должно быть, уже видел когда-то — не поймешь как — во сне или наяву.

А впрочем, отчасти так оно, наверно, и было. Ибо впервые увидел я Нью-Йорк действительно давным-давно, в детстве. Девяти лет от роду. Это было за год до знаменитого моего кокчетавского путешествия. Увидел я этот чудовищный город учеником второго класса Пресновского начального училища. И увидел совсем по дешевке — всего-навсего за медный пятак.

Было это на красочной, буйной и шумной, как карусель, осенней ярмарке в станице Новорыбинской — извечной ревнивой младежкой соседке древней нашей Пресновки.

Отец мой продал на этой ярмарке шесть фунтов осенней поярковой шерсти с доморощенных наших овечек, одарив меня пятью барышами — копейками на положенные базарные гостинцы. А мама повела меня тут же в таинственный загадочный брезентовый балаган веселых шадринских зазывал-балагуров глядеть «туманны картины»!..

И я был в восторге от этого чуда. От такого в прах сразившего меня зрелища. Поток яркого света, брызнувший откуда-то из-за наших спин упругим стругом живых, трепетных лучей, вдруг воскресил на белом полотне экрана всякие удивительные исторические события. Облики знаменитых людей. Панорамы далеких заморских городов. Пейзажи России.

Невыразимый душевный трепет охватил меня при виде этих «туманных картин». И весь сеанс просидел я, вплотную прижавшись к маме, с замкнутыми губами, не шевелясь, почти не дыша.

Нам показывали Полтавскую битву. Царя Петра Великого. Царицу Софию в келье Новодевичьего монастыря. Стрелецкий бунт. Бородинское сражение. Багратионовы флешы. Военный совет в Филях. Фельдмаршала Кутузова. Наполеона на зубчатой Кремлевской стене. Пожар Москвы. И бегство французов из России.

А потом — после перерыва — мы увидели казнь Степана Разина. Колокольню Ивана Великого. Царь-колокол. И Царь-пушку. Петропавловскую крепость. Медного всадника. Памятник Тысячелетию России. А толмач — разбитной, наторевший в грамоте парень в алой сатиновой рубашке, бойко толковал нам, огорошенным зрителям, что тут к чему.

Когда же в конце сеанса нам показали главную улицу города Нью-Йорка, то тут толмач сказал довольно категорично и кратко:

— Есть такой город в заморской державе — Америке. Это даже аж дальше Индии — черт знает где! Одним словом, по ту сторону света!..

И вот потом, после, когда я увидел Америку воочию, наяву, — я действительно почти ничему не удивлялся, воспринимая впервые увиденное как нечто уже знакомое издавна, как нечто вторичное.

Совсем не те чувства испытывал я во время первого моего кокчетавского путешествия.

Тут все, решительно все покоряло меня своей броскою новизной, подлинным дивом, запечатляемой на всю жизнь неожиданностью.

Такой запечатлевшейся мне на всю жизнь неожиданностью явились для меня впервые увиденные мною в этой дороге необыкновенные, совсем не похожие на наши казачьи станицы, очень какие-то картинные, непривычно опрятные, уютные села. С их никогда не виданными мною доселе белостенными домами, крытыми в навес золотой соломой хатами-мазанками. С непременно — возле каждой такой хаты — одинаковыми, густо заросшими разномастным древесным ягодником палисадниками, опоясанными аккуратными ракизовыми плетешками. С неслыханно опять-таки просторными — длиною в добрую версту — приусадебными огородами, ломившимися от бахчей, от обилия созревших, увесистых подсолнечных решет, от рослой, щедро унизанной восковыми початками кукурузы.

То были села переселенцев — выходцев с Украины. И по дороге на Кокчетав — за двести пятьдесят проеханных нами верст — повидали мы таких удивительных сел ничуть не менее, чем встречных кочевнических аулов. Между тем и названия у всех этих схожих, как близнецы, дивных степных поселений были — за малым исключением — вроде как бы одинаковые. И не обычного, мирского, а подчеркнуто духовного, какого-то церковнославянского происхождения, что ли.

Богдановка. Благовещенка. Рождественка. Архангелка. Крещенка. Святодуховка. Боголюбовка. Троицкое. Борисоглебовка. Раевка. Кирилломефодиевка. Белоцерковка. Сретенка. Спасовка. Вознесенка.

Перепадали — правда, пореже — и такие названия этих, занесенных сюда из далекого Приднепровья и Заднепровья украинских сел. Полтавка. Подол. Гуляй-Поле. Курени. Каховка. Ковали.

А еще более были удивительными и совсем уж для меня в ту пору непонятными названия здешних казачьих станиц. Эти уже на подступах к Кокчетаву — во владениях казачества Второго военного отдела Сибирского войска. Только потом, позднее, узнал я о том, что тут корни этих названий уходили в глубь древних казахских наименований той или иной здешней местности. Словом, названия эти были чисто казахские, и в переводе на русский означали в одном случае, скажем, соленое озеро. В другом — жирную рыбу. В третьем — чистую воду. Айртав. Сындыктав. Зеренда. Арыкбалык. Майбалык.

Жители этих — второотдельских — станиц тоже в сущности были переселенцами. Выходцами из центральных губерний России. В отличие от коренного линейного Сибирского казачества они были приписаны к войску

лишь в конце минувшего столетия. И потомственные линейные казаки-сибиряки относились к ним с нескрываемым высокомерием, а иные — из особо заносчивых и спесивых — даже с непритворным презрением.

Впрочем, презирать первоотдельцам их второотдельских собратьев по войску было совершенно не за что. Разве ж только из зависти к привлекательному облику их небедных, ревниво содержащихся в чистоте и порядке молодых станиц. К более собранной, складной, трезвой жизни их обитателей. К их добротным — один к одному — деревянным крестовым домам, крытым то листовым железом, то тесом. И таким же прочным, кондовым надворным постройкам — амбарам, заборам, воротам — тоже бревенчатым и тесовым, срубленным грубо, но намертво — на века!

Станицы мне эти нравились.

Но в полном восторге — за эту дорогу — был я от переселенческих украинских сел. Многим они навсегда покорили тогда меня. Просторными приусадебными оградами. Скрипучими колодезными журавлями посреди широченных, поросших муровым конотопом улиц. Самобытным, дивным, диковинным внутренним убранством хат. С чистыми, вымазанными желтой, как охра, глиной, приятно прохладными в жаркие дни полами. С холщовыми, роскошно вышитыми гарусом рушниками, висящими в передних углах — над божницами и по всем простенкам — то над невеликим зеркальцем, то над какой-нибудь красочной картинкой из знакомого мне уже в ту пору знаменитого сытинского настольного календаря.

Я равнодушным остался к хваленому всеми нашими украинскому борщу, которым потчевали нас в иных хатах. Зато я впервые в жизни познал сладость жарких, ароматных вареников и не мог насладиться всласть неповторимым вкусом паляниц — огромных, выдобревших на бражкой опаре булок этого воистину чудо-хлеба! Меня пленили праздничные девичьи наряды веселых хохлушек. Их расшитые крестом и гладью белые кофты. Ладные красненькие сапожки с подкованными каблучками. Цветные узкие юбочки — по колено. А главная прелесть была в живой, трепещущей на ветру радуге шелковых лент, пылавших над темными, как ночь, или золотыми пшеничными, вескими косами.

Нравились мне и необыкновенно широкие, словно надутые изнутри — тоже разноцветные — сатиновые шаровары здешних молодых парней — парубков. Их — тоже расшитые по вороту гарусом — белые холщовые рубахи. Щегольские, легкие, вызывающе заломленные на затылки конусообразные барашковые шапки. Мягкие — без каблучков — как степные наши ичиги — сапоги. Чубы, нависшие над тугими бровями. И узорчатые шерстяные самотканые пояса с увесистыми яростными кистями...

Меня буквально заморозил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. Язык этот так меня восхитил, что я даже удивлялся тому, что маленькие хохлята разговаривали промеж собою так же бойко и весело, как и большие!

И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные мною в этих селах украинские песни. Меня трогали, задевали отзывчивую, чуткую на

побудку душу не только многие полупонятные для меня слова этих крылатых, животрепещущих песен. Волновали, тревожили, окрыляли меня и сами внове услышанные мною напевы. Подмывали сердце то невыразимой, страдальческой их грустью и полузатаенной печалью, а то — разгульным степным раздольем. Вольной волею. Необузданной удалью. Лихостью!

О певческом даре этого народа говорить не приходится. Я оглушен был басовыми, набатными голосами здешних мужиков богатырского склада — в плечах косые сажени! — и полонен грудными женскими подголосками — такими стремительными, летучими, хрустально звонкими, что их, казалось, можно было услышать где-то в глухой, глубинной степи — не за одну версту от этих селений...

Да и не только казалось, Так оно и было на самом деле. Помню, припоздав в дороге, мы ехали на утомленных наших лошадях шажком по малоторной степной дорожке, с решением наших старших провести эту ночь в одном из лежавших на нашем пути переселенческих сел — Белоградовке. Стемнело.

Все глуше и глуше, все затаеннее били в набрякших от росы ковылях перепела. Молодой новорожденный месяц, перевозданно блистая в пепельно-зеленоватом небе? стоял на рогу — к ведру. Было тихо. И точно покоренные кротостью и великим покоем этого погожего августовского вечера, наши кони, устало ступая, наострив уши, как бы прислушивались к чему-то, и даже колесные втулки, перестукиваясь, разговаривали сию пору, казалось, вполголоса.

Я, лежа в ракитовом коробке на маминых коленях, бездумно глядел на печальное блистание юного месяца в предвкушении сладкого сна под покровом нашей дорожной палатки из самотканого полога.

И вдруг сердце мое, дрогнув, замерло. Остановилось. Остановилось не только оно. Остановилось — мгновение, и оно было прекрасным!.. Мигот отпрянув от маминых колен, я замер, внутренне похолодев от необъяснимого восторга и счастья.

Именно в это — на всю жизнь запомнившееся мне — мгновение и нахлынул на меня откуда-то издалека поток скорбных, как прощальное журавлиное курлыканье, напевных звуков. Было что-то нездешнее, ненашенское, неземное в них, и незащищенное отроческое мое сердце горело огнем невесть от чего — от безотчетного восторга или притаившейся где-то возле меня неведомой, темной беды...

Инстинктивно ища надежной защиты у мамы, я прижался щекою к теплой ее груди, и она, почуяв душевное мое смятение, молча гладила меня по голове сухой, горячей ладонью.

Все мы молчали.

Все мы в эти минуты прислушивались к песне, доносившейся до нас — как на крыльях — из окутанной вечерней полумглою притихшей степи.

Я и сейчас слышу эту песню.

Повий, витре, на Украину,

Де покынув я дивчину,

Де покынув кари очи,—
Повий, витре, о пивночи!
Миж горами е долына,
В тий дольше е хатына.
В тий хатыни е дивчина,
Дивчинонька-голубонька!
Повий, витре, тыщком, нышком
Над румьяным, билым лычком,
Над тым лычком нахылыся,
Чи спыть мыла, подывыся!
Чи спыть мыла, чи збудылась,
Спытай в нэи, с ким любылась,
С ким любылась тай кохалась
И любыты прысягала?
А якшо мэне забула
Тай другого прыгорнула,
То развийся по долыны
И не вэртайся з Украины.

Но вот песня умолкла, медленно угасая, как покинутый пу гниками придорожный костер в вечерней степи, но еще очень долго она продолжала звучать в моей притихшей отроческой душе, будя в ней сложное чувство печали, радости и смутной тревоги...

Смирно себе посиживая при надежном сбережении — между отцом и мамой — в уютном ракиновом коробке, прикрепленном к жидковатым, вибрирующим на дорожных рытвинах дрожкам,— я поглядывал на окрестный божий мир то широко раскрытыми, то полузаспанными глазами. Поглядывал и не переставал дивиться бесконечно изменчивой, всегда новой, всегда неожиданной, невторичной прелести этого мира.

Прелесть эта таилась почти во всем, что попадалось мне на глаза. В малоторной, сбивчивой, наглухо заросшей проселочной дорожке — бог весть когда-то и кем-то проложенной, и невесть бог — куда. И в этом серебряном бережке промелькнувшего мимо невеликого озерца с мятежными чайками над штилевым его плесом. И в этом печальном, почерневшем от давнего-давнего времени, осевшем набок стожке, должно быть, забытом хозяином сена, и ^Гв этих тяжеловесных от утренней росы ветвях прибрежного ракита. И в этом колдовском, яростном свисте вольнолюбивых упругих крыльев стаи диких уток, косо — рывком — перечеркивающих светло-зеленоватое вечернее небо над обнаженной твоей головой...

И вот поутру, когда мы, снявшись с очередного ночного степного бивака, снова тронулись в дальнейший наш путь,— я вдруг во весь голос ахнул. И ахнуть тут было с чего!

А ахнул я — с тревожной радостью, с изумлением, близким к испугу,— увидев вдруг в бесконечной, подернутой легкой утренней дымкой дали великое нерукотворное, неземное чудо. Я увидел огромную, словно сотканную из кинжальных лучей конусообразную, нежно-синеватую световую башню.

Словно являсь вдруг — как в иных писаниях и притчах — неким, излучающим тихое иконописное сияние видением, она — величаво, торжественно, державно — как бы парила, плавала в воздухе над разлившимся ковыльным морем окрестной степи, под высоким, умиротворяюще кротким и чистым августовским небом.

— Ма-ма-а!.. Ты погляди-ко, погляди вперед. Туда. Это, это што там такое? Это што там светится?— полузашептал я от волнения, указывая простертой рукою на замерцавшее за дальней далью призрачное видение.

— Да это ж, сынок, Синюха! Сопка. Гора такая. Царица урочища Борового!— запросто, буднично произнесла в ответ малопонятные для меня слова мама.

— Не Синюха, а Окжетпес, если назвать тебе ее по-степному, по-казахски. А по-русскому — это такая высокая сопка, што до вершины ее и стреле не долететь из старинного железного лука!— более понятно сказал отец.

И я еще раз ахнул, когда мне тут же сказали, что отсюда — с нашей дороги — до урочища Борового и до его светоносной сопки Синюхи — ни много ни мало — семьдесят с гаком верст!

Если бы знал я в ту пору о семи чудесах света, то восьмым чудом я тотчас же бесспорно назвал бы эту дивную, сотканную из кинжальных лучей световую башню, внезапно воскресшую перед нами в открытой степи, да еще к тому же — с семидесятиверстного расстояния. А позднее, когда наконец я увидел воочию и само урочище Боровое во всем его поразительном, почти неправдоподобном первозданном великолепии, я бы назвал и его — уже иным по счету — девятым чудом!

Да это и было чудом. Сказкой. Вымыслом. Незаспанным предутренним сном. Одной из тех пленительных волшебных картин, которые видел я в раннем детстве на осенней Новорыбинской ярмарке. Все здесь было нерукотворным творением природы. Дерзкой игрой творческого ее воображения. Пламенной, пылкой, искрометной ее фантазии. Завидным даром бросающего в оторопь ее вымысла. Раскованной ее волей. Титанической силой. Богатырским размахом. Разгулом. Смелостью. Удалью. Непокорностью никаким сатанинским силам. Не подвластным ни року, ни недоброму времени, ни безвременью ее мужеством...

Кстати будет сказано, что широко известный ныне в нашей стране курорт Боровое — это воистину окаменевшая легенда. Степной эпос. Кремневая книга. Извечная, древняя тема для импровизаторских сочинений бродячих степных композиторов-домбристов и странствующих по кочевым аулам самобытных поэтов-акынов. Не один раз слышал я впоследствии из их уст эпические сказания, стихотворные легенды и песни про этот диковинный горный оазис в целинной степи — про урочище Боровое. И в подстрочном, так сказать, прозаическом переводе все они приблизительно звучали вот так. В день шестой — завершающий день сотворения мира — бог, творец и создатель его, вдруг обнаружил вокруг себя некую груду недорасходованных природных красот

мира. И спохватясь, он щедро одарил второпях остатками сказочных этих красот и сокровищ — совсем позабытые было им пустынные эти степи...

И вот наконец, переночевав в дорожных наших палатках на ближних подступах к Кокчетаву — всего в пяти верстах от него, — мы въехали ранним погожим утром в этот заветный, прославленный на все лады Пашкой город.

Проехав от начала до конца всю главную — длиной около версты — городскую улицу, я что-то не заметил ни хваленных Пашкой деревянных мостов-тротуаров. Ни пяти каких-то особенно нарядных церквей-храмов. Ни тем более — пятизлатоглавого, белокаменного собора на городской площади. Площадь эта была такой же пустынной и скучноватой, как и в нашей Пресновке, и украшала ее одна лишь — небогатая с виду, рубленая в лапу церквушка да нарядная, обшитая тесом в елочку каланча.

Главная улица в городе, по которой мы ехали, называлась Потанинской. Оказалось, что названа она была так в честь знаменитого нашего одностаничника-пресновчанина Григория Николаевича Потанина. Ученого. Путешественника. Отважного исследователя природы и населения Внутренней Азии, а также Алтая и бывшей киргиз-кайсацкой степи — нынешнего Северного Казахстана.

«Всем известно имя Николая Пржевальского, знаменитого русского путешественника, — писал в своей монографии о Григории Николаевиче Потанине, изданной Академией наук в 1947 году, академик Владимир Афанасьевич Обручев. — Но меньше известно, — продолжает он, — широкому кругу советских читателей имя Г. Н. Потанина, изучавшего Внутреннюю Азию в те же годы и совершившего пять путешествий по Монголии, Урянхайскому краю, Китаю и восточной окраине Тибета. А по исследованию природы Монголии и Китая он сделал гораздо больше, чем Пржевальский», — категорично утверждает В. А. Обручев.

Из этой же обручевской монографии мы узнаем и о том, что в отношении монгольских и тюркских народностей, их быта, обычаев, верований, сказаний, всей их жизни Г. Н. Потанин собрал несравненно больше сведений, чем Н. М. Пржевальский.

И опять-таки в отличие от великого Н. М. Пржевальского знаменитый наш пресновчанин все свои путешествия совершал без военного конвоя, вдвоем со своей женой — Александрой Викторовной Потаниной, дочерью нижегородского священника Лаврского. Она была одной из тех русских женщин, которые во второй половине XIX века сопровождали своих мужей в далеких их путешествиях, разделяя с ними на равных все труды, невзгоды, опасности, тяготы походной их жизни.

Путешествуя вдвоем с А. В. Потаниной, Григорий Николаевич подолгу жил в иноземных городах, селениях и буддийских монастырях. Входил в доверительно-тесное общение с местным населением, чему много способствовала Александра Викторовна. Своим присутствием — рядом с мужем — она как бы подтверждала мирный характер их путешествия и — как женщина — имела доступ в семейную жизнь азиатских народов, наглухо закрытую для стороннего мужчины.

Детские годы прославленного нашего земляка прошли в Пресновке. Отец его, Николай Ильич Потанин, был хорунжим Сибирского казачьего войска и владел в молодости немалым состоянием — тысячными конскими и несметными овечьими отарами. Но впоследствии за некие служебные столкновения с войсковым начальником Николай Ильич попал под суд. Сидел даже одно время в тюрьме. Кончилось все это тем, что он был разжалован в рядовые казаки. А затем и все богатство, унаследованное от родителя, пошло прахом. Он размотал его на взятки судьям. Но — без успеха. И окончательно разорился.

Пяти лет от роду Гриша Потанин лишился матери. Умерла она в то время, когда отец сидел в тюрьме. И воспитанием осиротевшего мальчика занялась двоюродная его сестра, младшая дочь тетки — Лена. Она заменила ему мать. И Гриша полюбил ее так же безотчетно и горячо, как возненавидел в то же время — и с такой же безотчетной, яростной силой — жениха ее, пехотного поручика Спиридона Ванькина. Возненавидел он — природный сибирский казачонок — пехотного поручика за то, что тот — от невеликого, видно, ума, походя травил ребенка, угрожая ему отнять у него его маму.

Был и такой случай. Однажды Спиридон Ванькин привязался к мальчику, допрашивая его о том, во что он ценит своих родных — мать, отца, бабушку, тетку. И Гриша, со свойственным детям наитием, почуяв коварство в вопросе поручика, долго соображал о том, как бы это не остаться ему в дураках, и назвал наконец самую высокую — по его убеждению — цену новой матери — в две оловянных рыбки!

Мальчик был твердо уверен, что уж чего там чего, а оловянных рыбок поручику нигде не добыть ни за какие деньги. Однако не миновало и суток, как ненавистный малому казачонку пехотинец вручил ему соблазнительно блестящих рыбок, и тут же, взяв его маму за руку, шутейно повел ее со двора. Протестующе завопив на всю станицу, мальчик по-волчьи вцепился зубами в руку обидчика. А однажды — в приступе черного бешенства — Гриша огрел по спине поручика подвернувшейся под руку палкой. И тем не менее настал день, когда пехотный поручик маму от маленького пресновского казачонка увел...

В те годы наша станица Пресновская была штаб-квартирой пехотного полка и кавалерийской бригады. Командовавший кавалеристами бригадный генерал Морис Эллизен — обрусевший француз на русской службе — питал большое душевное расположение к разжалованному в рядовые казаки разорившемуся отцу маленького Гриши — Николаю Ильичу Потанину. И для того чтобы в какой-то мере выручить его из беды, Эллизен пристроил бывшего хорунжего присматривать за своим большим огородом, а затем поручил ему подрядческий надзор за строительством моей современницы — новой церкви, главный колокол которой так задел и смутил когда-то в отрочестве вспугнутую мою душу...

Пригласив в свой дом казачьего учителя, бригадный генерал взял к себе и маленького Гришу Потанина, чтобы учить его вместе со своими малолетними детьми грамоте. Русскому языку. Арифметике. Географии.

Но кроме, так сказать, чисто школярских, что ли, велись в этом доме добропорядочных Эллизенов и внешкольные, как бы теперь сказали у нас, занятия. Жена Эллизена — широко образованная русская женщина — Мария Павловна Эллизен выписывала из Санкт-Петербурга в Пресновку очень популярный в те времена в передовом русском обществе детский журнал «Звездочку». И тотчас же, как только приносилась с почты очередная книга этого журнала,— вспоминал потом Григорий Николаевич,— наша полковница Мария Павловна собирала нас — детей — возле своей кровати, на которой любила проводить послеобеденное время, лежа на мягком пуховике, и кто-нибудь из нас — ребятишек — читал тогда вслух стихи и рассказы из этого любимого нами журнала.

Однажды,— вспомнит потом Григорий Николаевич,— Мария Павловна привезла из Омска книжку про Робинзона Крузо. Помню, в тот вечер в доме Эллизенов было много гостей — офицеров пресновского гарнизона и их жен. То было на святках — рождественских праздниках. Людей тьма. И в гостиной. И в зале. И в кухне. Пусто было только в девичьей. Я забрался туда. Зажег свечу. И погрузился в чтение этой книжки. И с первых же ее страниц она пленила, поработила, захватила меня. С необыкновенным душевным волнением читал я ее до тех пор, пока не пришла в девичью горничная и не погнала меня спать. Вот после этого — памятного мне на всю жизнь — вечера и после этой залпом прочитанной мною книжки и зародилась во мне мечта о дальних странствиях, о путешествиях в иные страны и земли...

В 1846 году Эллизены, покинув Пресновку, уехали в Петербург — определять своих повзрослевших дочерей в аристократический Смольный институт, и Гриша Потанин тяжело пережил эту разлуку. Особенно — с Марией Павловной Эллизен, которую всю жизнь потом считал своей духовной матерью.

В этом же году — вскоре после отъезда Эллизенов — отец отвез одиннадцатилетнего Гришу в Омск, где он был зачислен в войсковое казачье училище, преобразованное — три месяца спустя — в Сибирский кадетский корпус. Именно здесь, под сводами этого и ныне украшающего центральную улицу Омска монументального здания минувшего века и произошла знаменательная счастливая встреча двух замечательных — в будущем — деятелей отечественной культуры — Григория Николаевича Потанина и Чокана Чингисовича Валиханова. Земляков. Талантливейших сыновей своих народов. Подвижников науки. Оба они — в один и тот же год — стали воспитанниками этого Сибирского кадетского корпуса.

Но Чокан Валиханов!

Это — давняя любовь и печаль моя. Это особая — с большой буквы — глава в пресновских страницах. И об этом — живой буду — расскажу, как сумею, потом. Где-то там — впереди. После.

Расскажу и о дружбе последнего казахского принца с прославленным нашим пресновчанином — Григорием Николаевичем Потаниным.

Но сперва — про него. Про земляка моего. Про одностаничника пресновчанина — про Потанина.

Опуская некоторые подробности из его героическо-трагической биографии, хочу напомнить о главных, самых значительных ее страницах.

Окончив — вместе со своим сверстником и верным другом Чоканом Валихановым — в 1852 году Омский кадетский корпус, Потанин записался в восьмой сибирский казачий полк, расквартированный в ту пору в Семипалатинске. Выбор этот был для него не случайным. Понаслышавшись от кадетов-однокашников — уроженцев так называемой Бийской казачьей линии — о живописных красотах Алтайского края, будущий путешественник преднамеренно избрал этот городок и полк местом своей военной службы.

Ранней весной 1852 года Григорий Николаевич ощутил — как вспоминал он потом — невыразимое счастье в предвкушении дальних странствий. Он получил назначение в казачий отряд, которому было приказано дойти из Семипалатинска до города Копала — это в Семиречье, в семистах верстах отсюда и затем дальше, в предгорья Тянь-Шаня.

Во время этого первого своего путешествия Григорий Николаевич впервые в жизни — после родных ему пресновских равнин — увидел горы со снежными вершинами — горы Заилийского Алатау. Скалистые ущелья, нарядные тянь-шаньские ели, бурные горные речки, — все это было неожиданно, ново, увлекательно для пылкого воображения молодого — точнее сказать — юного тогда землепроходца, предопределив дальнейшую жизненную его судьбу.

Но прежде чем достичь Заилийского края, казачий отряд, снявшийся из Семипалатинска, в течение месяца вынужден был задержаться в малоприметном местечке Копал в ожидании генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорда. Копал был в то время резиденцией особого порученца Гасфорда — пристава Большой казахской орды майора Перемышльского.

Прибыв наконец в Копал и устроив придирчивый смотр экспедиционному отряду, Гасфорд отдал приказ Перемышльскому повести своих казаков в поход с целью занятия Заилийского края.

Преодолев предгорья Джунгарского Алатау, казаки Перемышльского успешно форсировали многоводную, широкую, мутно-глинистую реку Или. На конях они перебрались вплавь. А пушки были перевезены на сооруженном ими пароме.

Миновав безотрадные, пустынные приилийские степи, казаки достигли подножия Тянь-Шаня — величественных и грозных, густо заросших роскошными елями, покрытых вечными снегами гор.

Первый свой бивак, достигнув Заилийского края, сибирские казачьи землепроходцы раскинули на кремнистом берегу реки Алматинки — где-то в центре нынешней Алма-Аты. И тотчас же — неподалеку от этого казачьего военного лагеря — собрались на свое народное вече встревоженные, не - шибко мирно, видать, настроенные к незванным пришельцам заилийские жители — казахи.

Как потом, уже значительно позднее, вспоминал Григорий Николаевич Потанин, это казахское вече было необыкновенно бурным. На нем решался один вопрос — вопрос о замирении или войне с русскими, вторгшимися в

родную страну. Вече расколосось на две непримиримых между собою партии. Одна из этих партий, предводительствуемая баем Таучубеком, настаивала на сражении с русскими, на прогоне их прочь — откуда пришли — за Или. Другая же партия, которую возглавлял столь же влиятельный бай Диканбай, склонялась к миру с русскими.

После трехдневного — можно сказать, круглосуточного — спора партия мира взяла верх, и сторонники Таучубека вынуждены были, покинув вече, откочевать затем за ближайший горный хребет — в долину реки Чу. После пышного пиршества в ставке с замиренными заилийскими аборигенами хана Диканбая, где текли кумысовые реки и клокотали кипящие казаны с бараниной, Перемышльский отвел свой отряд к востоку от Алма-Аты — в долину реки Иссык, где было определено майором место для первой казачьей зимовки. Вот тут-то вскорости расторопные сибиряки соорудили три деревянных дома — один под лазарет, два других — для начальства.

Для рядовых казаков и младших офицеров были вырыты землянки.

Ранней осенью место это выглядело райским. Вокруг были заросли диких яблонь с внушительными по весу, сочными, ароматными плодами, — их тут можно было грести лопатой. А склоны ущелья Иссык были усыпаны абрикосовыми деревьями. И Григорий Николаевич Потанин, странствуя с утра до вечера по дивным, диким окрестностям лагеря, не мог налюбоваться двумя высокогорными здешними озерами. Альпийскими лугами. Высокими — в пояс — густыми травами. Падающим с гор белой завесой, похожей на дверь в юрту, Иссыкским водопадом. А иссык — это дверь по-казахски.

Но зимовка в Иссыке оказалась невероятно трудной, причинившей отряду немало тягостных лишений и испытаний. В эту зиму у подножий Тянь-Шаня выпал глубокий — в полтора аршина — снег. Лошади отряда остались без корма, и половина строевого конского поголовья погибла.

Не в лучшем положении оказались и казаки. Из-за суровой зимы в Прииртышье, да и в Копале, отряд лишился получения продовольствия со своих отдаленных интендантских баз. Перестала ходить даже легкая почта. Уже к концу декабря 1853 года казаки, зимовавшие на Иссыке, остались без соли, мяса и муки. А вместо чая заваривали корни шиповника, вырытые на склонах гор из-под глубокого снега.

К счастью хвативших тут горького до слез казаков, в первых же числах марта наступила ранняя в этом краю весна. Ожили и люди и боевые их спутники — строевые и обозные кони. И майор Перемышльский поспешил вывести свой отряд из Иссыка снова к берегам горной Алматинки, где с ходу и приступили к строительству Вер-ненской крепости.

И одним из первых строителей этой крепости был — в числе прочих сибирских своих земляков — и Григорий Николаевич Потанин.

Все мы — бывшие пресновские казачата — приручались нашими дедами и отцами к топору и к шашке с самого малого детства. Спервоначально — к игрушечному легковесному топорiku, которым, как бы шутейно, ради забавы рубили мы с плеча — шустрые станичные ребяташки — хрупкий худой хворост для пашенных наших костров. А потом, повзрослев, мы уже не

чурались и настоящего весомого топора, сноровисто и уверенно орудуя им по любой да хорошей домашней надобности.

Все мы были привычны делать этим топором сами, своими руками. Деревянные рукоятки к тяжелым — как булавы станичных атаманов — пешням. Те же сподручные березовые топорщица, отшлифованные до полировочного блеска стекольным осколком. Колесные спицы для домашней телеги на деревянном ходу. Пристяжные вальки для пашенной утвари и для пылких, нагульных свадебных и ямщицких троек...

Ведь недаром же — как сказывали нам, малым детям, наши деды, отцы и матери — и столетняя наша станичная церковь, срубленная в лапу и обшита разграфленным под кирпич тесом, — была поставлена дивными умельцами одним топором — без гвоздей, долота, стружка и фуганка!

Вот почему и будущий прославленный путешественник — столбовой пресновчанин — был не в отличку от всех нас. Прошедший суровую, строгую школу трудового воспитания у родного — по отцу — дедушки Ильи, маленький Гриша, верный дедушкиной науке, жил потом всю долгую жизнь свою в ладу с топором. Вот потому-то, наверное, с такой завидной ловкостью, мастерством и проворством он — молодой казачий офицер — и зарубил в лапу — на удивление всех нижних чинов — первый венец первого воинского здания в укреплении Верном — штабного управления майора Перемышльского.

Но в укреплении Верном Григорий Николаевич оставался недолго. Тут ему, надо сказать, повезло. Начальнику Копальского гарнизона полковнику Абакумову было поручено — по указанию из Петербурга — отправить в Кульджу predetermined количество слитков серебра величиною с кусок туалетного мыла. Серебро это слыло за жалованье сотрудникам русского консульства в китайской Кульдже, и доставлялось оно туда время от времени казачьими офицерами в сопровождении небольшого конного конвоя. И молодой Потанин — отроду опаленный пламенной страстью к дальним странствиям — с неприкрытым душевным восторгом воспринял столь высокое поручение. Так, впервые в жизни переступив государственную границу России, будущий землепроходец — на многие и многие годы впредь — связал свою малоуютную жизнь с суровыми маршрутами рискованных и небезопасных скитаний по угрюмым горным дебрям и по угрожающе безмолвным пустыням Внутренней Азии.

Скажу заранее. Незаурядному нашему пресновчанину — с первых же лет военного его обучения и дальнейшей службы — весьма и весьма повезло. Ибо судьбе — или, как прежде говаривали, богу — было угодно свести его со многими замечательными людьми того времени.

Ну, на первых порах — с его однокашником по Омскому кадетскому корпусу Чоканом Валихановым. А позднее — в пору нелегкой, но увлекательной службы его в экспедиционных казачьих полках и отрядах, в годы последующих его путешествий по Монголии, Китаю и восточным окраинам загадочного, запретного для европейцев Тибета, — с такими просвещенными его современниками, каким был — к примеру — тогдашний начальник Копальского гарнизона полковник Абакумов. Именно этому

человеку — как вспоминает потом Григорий Николаевич — обязан был он — молодой офицер — первым своим знакомством со знаменитым журналом «Современник», выходящим в ту пору под редакцией Николая Алексеевича Некрасова.

На страницах этого журнала, выписываемого в свой захолустный Копал полковником Абакумовым, впервые познакомился юный пресновский офицер с сочинениями передовых, прогрессивных писателей России. С первыми повестями о детстве и юности, с «Севастопольскими рассказами» графа Льва Николаевича Толстого. С «Асей» Ивана Сергеевича Тургенева. С блестящими полемическими статьями Николая Гавриловича Чернышевского, Николая Александровича Добролюбова...

И все же. И все же. Едва ли не самым, так сказать, везучим событием в долгой, весьма сложной и — прямо скажем — трагической жизни именитого моего земляка была его встреча, а потом и пылкая юношеская дружба с «последним киргизским царевичем» — сыном последнего хана Западно-Сибирских степей — необычайно одаренным, а позднее и широко образованным, блестящим офицером-степняком на русской службе — Чоканом Валихановым.

Уже в пору пребывания «степного принца» в стенах Омского кадетского корпуса он привлек к себе живейшее внимание тогдашней тамошней администрации, и просвещенные проникательные люди уже и тогда предугадывали в нем будущего путешественника, пытливого исследователя Туркестана, Кашгарии или Китая. И Чокан, заканчивая кадетский корпус, стал всерьез готовить себя к предопределившейся в его сознании будущей его миссии. С юношеской страстью зачитывался он, например, описаниями путешествий Палласа по родной ему — как тогда говорилось — Киргизской степи, по Монголии и Китаю.

Вместе со своим неразлучным другом-однокашником по корпусу Чоканом зачитывался и Потанин описаниями различных путешествий, со страниц которых веяло на юных кадетов дыханием родных степей, ароматом их неярких цветов и трав, милым их сердцу с детства, горьковато-нежным привкусом степной мелколистной полыни...

Омский кадетский корпус был закрытым учебным заведением. Но это не изолировало, так сказать, передовых любознательных его воспитанников от тех или иных связей с внешним миром, от благотворного влияния на них прогрессивной русской интеллигенции. До далеких сибирских городов, а в частности, и до Омска, уже докатывались из глубин России отголоски тамошних революционных потрясений. И у многих кадетов при выходе их из корпуса укрепился в сознании горячий душевный протест против пребывания в крепостнической кабале российского крестьянства.

Но Сибирь, не знавшая крепостного права, испытывала в то время иное социальное бедствие — колониальную политику русского царизма, которая обрекала на вымирание здешние национальности, именовавшиеся тогда «инородцами». И молодой офицер-пресновчанин начал догадываться, например, о том, что огромные конские косяки и тысячные стада рогатого скота

были нажиты дедом его Ильей отнюдь не на скудное его офицерское жалованье.

Конечно же, громадное состояние предприимчивого потанинского деда было приобретено за счет нечестной, полуворовской, хищнической торговли со степными кочевниками и за счет такой же бессовестной эксплуатации так называемых джатаков — в буквальном смысле — безлошадной, неимущей степной бедноты. То были совершенно даровые рабочие руки. За полукаторжный — прямо скажем — их труд зажиточные станичные казаки не платили и расколотого гроша. И чертомелили они только за кусок хлеба да иногда за додаивание уже подоенных хозяйских коров...

В 1864 году — после первого своего путешествия по нынешнему Восточному Казахстану, Монголии и Китаю — Григорий Николаевич, прожив некоторое время в Омске, перебрался затем в Томск.

В отличие от тогдашнего Омска — города военных, Томск почитался сибиряками как город просвещенной интеллигенции. Здесь не было военных учебных заведений. Но было две гимназии — мужская и женская. Плюс — духовная семинария. Издавалась даже еженедельная местная газета, к сотрудничеству в которой Григорий Николаевич привлек своего друга, впоследствии видного путешественника-археолога Н. М. Ядринцева и писателя Шашкова, выступившего в Томске с чтением публичных лекций по истории Сибири. Лекции эти взволновали весь город, в одной из них Шашков под аплодисменты и сочувственные крики всего зала провозгласил, что сибирякам нужен свой университет. В лекциях этих были ярко освещены нравы тогдашнего сибирского чиновничества. Его произвол. Казнокрадство. Или же, говоря старомодным емким словом историка Карамзина, — казно действие. Взятничество. Мздоимство. Презрительное отношение к простому трудовому народу. А между тем идея создания в Сибири своего университета встретила в обеих столицах России — Москве и Санкт-Петербурге и в самой Сибири немало злобных противников. К числу их примыкал и генерал-губернатор Восточной Сибири. Сей сиятельный вельможа безумно боялся, что университет превратится в рассадник так называемого сибирского сепаратизма.

Кстати, автором этого словечка был небезызвестный М. Н. Катков — махровый реакционер-публицист времен царствования двух Александров — II и III. В «Московских ведомостях» он — Катков — напечатал, как теперь бы сказали, целую серию статей, в которых обличал окраины Российской империи в этом самом сепаратизме, то есть в стремлении отделиться от России.

Однако представители «сибирского патриотизма», в числе которых были и члены потанинского кружка, созданного им в Томске, не разобравшись в провокаторском толковании Катковым этого прогрессивного их движения — впоследствии сами — с явным вызовом — стали называть себя «сибирскими сепаратистами». Но ни у одного из этих молодых людей даже и в помыслах не было отделения Сибири от России.

К тому времени — в шестидесятых годах — в Томске, как и в прочих городах Сибири, волны общественного пробуждения, докатившиеся сюда из России, вызывали повышенный интерес к политической жизни и среди здешней

молодежи. То тут, то там возникали полулегальные кружки, где читались всякие литературные и политические новинки. Подпольные прокламации. Брошюры. Листовки.

О существовании таких молодежных кружков, возникших в шестидесятых годах в различных городах Сибири, полиция, разумеется, знала и зорко исподтишка наблюдала за ними. Но на особом подозрении был у томской жандармерии потанинский кружок. Ведя за этим кружком неусыпную слежку, полиция наконец накрыла всех его участников на одном из загородных собраний потанинцев и тут же — с ходу — арестовала их. Вместе с Григорием Николаевичем здесь были схвачены члены его кружка — друзья по Петербургскому университету — Наумов, Ядринцев, Шашков. А затем были арестованы и иркутские «сепаратисты» — Щукин, Колосов и Щапов.

Все арестованные «сепаратисты» были отправлены по этапу в Омск и заключены потом в казематы тамошнего острога — того самого «Мертвого дома», в котором провел четырехгодичное заточение великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, покинувший это мрачное тюремное заведение всего за десятилетие до водворения в него потанинских «сепаратистов».

В конце следствия, длившегося полгода, Потанин вручил следователю письменное признание, в котором утверждал, что был главным агитатором в кружке, ратовавшем не за отделение Сибири от России, а за устранение препятствий, мешавших экономическому и культурному процветанию этого обширного, сказочно богатого, малообжитого края.

И только через три года — все это время потанинские «сепаратисты» провели в Омском остроге — сюда поступил судебный приговор из Московского отделения Сената.

Григорий Николаевич Потанин — главарь и организатор «сепаратского» его кружка — был приговорен к 15 годам каторги. Однако найдя смягчающие обстоятельства, суд сократил срок каторжных работ для Потанина до 5 лет. Все же остальные участники потанинского кружка были отправлены в ссылку и лишены гражданских прав.

Перед отправкой на каторгу в финляндскую крепость — Свеаборг — над Григорием Николаевичем был совершен обряд гражданской казни. В четвертом часу хмурого сентябрьского утра он был доставлен из крепостного каземата в полицейское управление. Здесь его посадили на нелепую — похожую на степную арбу — деревянную колесницу, а затем доставили на ней под жандармским конвоем к воротам базарной площади, где был сооружен эшафот. Было холодно. Моросило. Дул мятежный, раскидистый северный ветер. Неуютным, сирым и сумрачным выглядел Омск в этот ранний осенний час. И совсем немного случайных прохожих ошарашенно толпилось, с ужасом взирая на высокий помост эшафота, на котором стоял в сером арестантском халате человек с наголо обритой головой, с подвешенной доской на груди, с грубо намалеванной на ней дегтем надписью — **государственный преступник!**

Проворный палач с показной нарочитой свирепостью привязал воровинной веревкой руки Григория Николаевича к позорному столбу, а затем закрыл его лицо сорванным с его головы брезентовым капюшоном.

Стояла мертвая тишина. Слышны были только заунывные посвисты сырого студеного ветра. И щуплый, дряхловатый судебский чиновник огласил глуховатым, простуженным, хриплым голосом приговор сенатской комиссии.

После этого мрачного обряда гражданской казни палач — с той же грубой проворностью — отвязал осужденного от столба. Затем Григорий Николаевич снова посажен был на нелепую скрипучую колесницу и доставлен на ней в то же самое полицейское управление.

Здесь в последний раз — перед пятилетней разлукой их — встретился Григорий Николаевич с пятеркой своих друзей по бывшему кружку, осужденных на тот же срок, что и он, в ссылку, которую суждено им было отбыть в Архангельской и Олонецкой губерниях.

Дав возможность осужденному каторжнику проститься с его друзьями, жандармы доставили его в здание кордегардии, где в комнате караульного офицера ловкий кузнец вмиг заковал на ногах Григория Николаевича весомые кандалы.

Все было кончено.

Свечи былой вольной жизни померкли. И молодой ученый, страстно мечтавший о неведомых странах и дальних странствиях, отправлялся теперь в неблизкое свое путешествие. По терновой дороге, закованный намертво в кандалы!..

Однако спустя два года судьбе было угодно явить к изгнаннику милость, и он получил из Петербурга известие о помиловании. Причиной тому было заступничество П. П. Семенова-Тян-Шанского, — влиятельного ученого, обратившегося с личным ходатайством к шефу жандармов о помиловании Потанина. Шеф не устоял перед авторитетом знаменитого путешественника, и помилование было дано.

Воротясь в Петербург, Григорий Николаевич встретил весьма доверительное, благожелательное, участливое отношение к себе со стороны П. П. Семенова-Тян-Шанского, который — при первой же встрече их — категорично заявил Потанину, что первую же экскурсию в Центральную Азию он оставляет за ним. Здесь же — в квартире Петра Петровича — Григорий Николаевич встретился с другим замечательным путешественником — исследователем Азии — Николаем Михайловичем Пржевальским, только что вернувшимся из первого своего похода во Внутреннюю Монголию. После этого своего путешествия, принесшего отечественной русской науке немало великих открытий, интерес к изучению сопредельных стран Азии возрос необычайно, и Григорий

Николаевич — при активном содействии Русского географического общества — стал деятельно готовиться ко второму своему путешествию — исследованию природы и населения северо-западной Монголии.

После этого путешествия, успешно завершено Г. Н. Потаниным в 1880 году, прославленный мой земляк в течение последующих сорока лет — с 1880

по 1920 годы — совершил еще шесть путешествий. По Монголии, Китаю, северным окраинам Тибета, Большому Хингану — высокогорному хребту, отделяющему Монголию от Маньчжурии.

По убеждению академика Владимира Афанасьевича Обручева, в будущей истории географических открытий и исследований по Внутренней Азии во второй половине XIX столетия имена трех русских путешественников — Г. Н. Потанина, Н. М. Пржевальского и М. В. Певцова — займут почетное место. Ибо подлинно научное исследование Внутренней Азии началось именно с путешествий этих трех наших соотечественников.

По признанию того же В. А. Обручева, трудно даже сказать, кто из этих трех пионеров географических исследований и открытий сделал за свою жизнь больше. Так, для Северной Монголии, например, и восточной окраины Тибета более других — из них троих — открытий сделал Потанин. Для Китая и Северного Тибета — Пржевальский. Для Джунгарии — Певцов.

Многие из современников, близко знавших Потанина, вспоминая о нем, говорили, что Григорий Николаевич был наделен от природы всеми личными качествами, необходимыми для путешественника. Богатырским — вдоволь закаленным непрерывным трудом, лишениями и невзгодами — здоровьем. Редкостной нетребовательностью. Неприхотливостью. Железной волей. Выносливостью. Совершенным знанием многих тюркских языков и наречий. И конечно же, самоотверженной, страстной любовью своей к делу, к науке.

Страны Центральной Азии, — как не раз говорил потом. Григорий Николаевич, — являлись для него — путешественника — своеобразным музеем, в котором были собраны редчайшие памятники материальной и духовной культуры народов, частично уже исчезнувших. Именно здесь собирал неутомимый пресновчанин свои бесценные — для науки — материалы по народному эпосу, этнографии и редчайшие ботанические и зоологические коллекции.

В 1899 году, спустя шесть лет после кончины Александры Викторовны — верного своего спутника по семи предыдущим путешествиям по Центральной Азии, — шестидесятичетырехлетний Григорий Николаевич совершает — теперь уже в одиночестве — последнее свое путешествие по Монголии. А потом — с 1899 года по 1920 — до конца дней своей нележкой, не поскупившейся на невзгоды, лишения и беды жизни великий скиталец почти безвыездно провел в Томске.

В эти годы Григорий Николаевич принимал живейшее участие в общественной и научной жизни Томска. По его личной инициативе здесь — в Красноярске — было открыто отделение Географического общества. Благодаря его деятельному участию, в том же Томске было учреждено научное общество по изучению Сибири, объединившее профессоров Томского университета и здешнего Технологического института — единственных в то время высших учебных заведений во всей Сибири.

В 1905 году — в дату семидесятилетия Григория Николаевича — ученый совет Томского технологического института единогласно — при тайной баллотировке — избрал его своим почетным членом. Однако Министерство

народного просвещения Российской империи, считая фигуру ученого-путешественника политически неблагонадежной, решительно отказалось утвердить его Даже и в этом звании.

Знаменитый — и до конца дней своих полуопальный — земляк мой был организатором первых в Сибири высших женских курсов. Он много писал в газетах Иркутска, Омска, Томска и Красноярска по самым различным вопросам общественной жизни Сибири. И даже на склоне лет своей некороткой жизни удивлял современников кипучей — совсем не стариковской — энергией, активной заинтересованностью, трудолюбием и инициативой.

Нельзя умолчать и еще об одной драме, пережитой Григорием Николаевичем — увы — уже на закате жизни. Пережив — на многие годы — кончину Александры Викторовны, он, встретившись однажды с сибирской поэтессой Марией Гавриловной Васильевой, по-юношески пылко влюбился в эту женщину, годившуюся ему чуть ли не во внучки... В течение девяти лет — с 1902 по 1911 годы — длилась их активная переписка. И только под осень этого последнего года они, встретившись на Горно-Алтайском курорте Чемал, поженились.

Но новая семейная жизнь счастья на старости лет Потанину не доставила. Спустя шестилетие — в 1917 году — он расстался со своей молодой супругой. Между тем даже и в эти годы — второй, малоудачной своей семейной жизни — Григорий Николаевич продолжал разработку материалов, собранных им за многие странствия по орбитам Центральной Азии. Воспоминания его об этих путешествиях регулярно печатались в течение пяти лет — с 1913 по 1917 годы — на страницах томской газеты «Сибирская жизнь». Эти потанинские воспоминания охватывали обширный, интереснейший период русской истории второй половины XIX столетия.

Ярко, красочно — с самобытным писательским даром — рассказал Григорий Николаевич в своих воспоминаниях о жизни, о быте, о нравах родного ему Сибирского казачьего войска. О годах учебы своей в Омском кадетском корпусе. О дружбе с Чоканом Валихановым. И о многих иных замечательных людях, с которыми сводила его судьба и на каторге, и в ссылке. И на неторных дорогах и тропах скитальческой его жизни.

Малоотрадным, небезоблачным было и последнее десятилетие потанинской жизни. Именно в эти годы настиг Григория Николаевича тягчайший недуг — катастрофическое ослабление зрения. И кончилось это тем, что он уже не в силах был ни читать, ни писать. Но тут явились к нему на помощь многие из немалочисленных его друзей, став его добровольными секретарями, которым неутомимый пресновчанин продолжал диктовать свои научные записки и воспоминания.

Однако едва ли не самым верным и бескорыстным потанинским другом, скрасившим как-то последние годы его жизни, была учительница географии томской женской гимназии Наталья Петровна Карпова. Восемнадцать лет кряду — с 1902 по 1920 годы — подвижнически служила ученому эта добрая русская женщина.

Сотрудничая с Григорием Николаевичем, Наталья Петровна помогала ему в обработке его воспоминаний и научных материалов, добытых в экспедиционных походах, сама вела дневники. А после кончины ученого она, на основании своих записей, составила биографию Григория Николаевича, которая ныне хранится вместе с огромным потанинским архивом в библиотечных сейфах старейшего в Сибири Томского университета.

Скончался Григорий Николаевич 30 июня 1920 года. А последний приют великому скитальцу оказала земля загородного женского монастыря — рядом с гранитными надгробиями двух популярнейших в свое время в Сибири профессоров Томского университета Г. М. Селищева и М. Т. Климентова — страстных патриотов Сибири.

Ныне наша отечественная географическая наука гордится моим земляком-пресновчанином — Григорием Николаевичем Потаниным — этой немеркнувшей звездой в ярчайшем созвездии прославленных землепроходцев нашей Родины.

1970—1973